# БЕЗ ВАС

# (Роман – воспоминание)

Моей матери Нигяр, моему отцу Расулу. Эту работу, которую, остав­шись без вас, я пишу о вас, посвящаю вашей неувядаемой, негасимой для нас памяти

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...Кто знает? Может быть...

Может, это действительно так. Может, в необъяснимом распорядке Времени нет Настоящего, есть лишь Прошлое и Будущее; Бывшее уже было, Грядущее еще наступит, а место встречи, точки столкновения их – Оставшихся позади и Идущих навстречу – не существует.

...Или, может быть...

Первый крик – перед грядущими днями страх, может быть? Последнее молчание – утоление усталости жизни – спокойная, прохладная тень?[[1]](#footnote-1)

Древнегреческий мудрец сказал: «Нельзя войти дважды в одну и ту же реку». Но и один раз войти в одну и ту же реку нельзя. Ведь пока ты входишь, эта река уже не та; река, в которую ты вошел, утекла, ее течение не может остановиться ни на миг, ни на секунду.

От омута река отличается тем, что она течет, как время. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Мгновенье не может остановиться.

Ан (мгновение) – секунда. Анмаг – вспоминать. Аным – ассоциация.

На встрече с читателями кто-то спрашивает:

– Как толкуется ваше имя?

– Анар – от глагола анмаг (вспоминать), Анар – вспомнит, Анар – вспоминающий.

– А говорят, ваше имя расшифровывается так: Анам – (моя мать) Нигяр, Атам – (мой отец) Расул.

– Нет, это выдумка. Не знаю, кто придумал. О такой рас­шифровке мои родители понятия не имели. Повторяю Анар – от глагола «анмаг» – вспоминать.

...Вспоминаю. Хочу вернуть ушедшие часы, дни, хочу удержать время, ухватив его за полу. Хочу остановить минуты, мгновения.

Мгновенье не может остановиться.

У Времени нет Сейчас, есть Бывшее и Грядущее.

И эту фразу, что я пишу, я не пишу Сейчас. Ни одно пред­ложение, ни одно слово я не пишу Сейчас. До написания мною этих фраз, слов их еще нет, они впереди, в будущем, каждое же написанное мной предложение уже остается в прошлом. По мере того, как я переношу на бумагу слова, они падают, остаются позади, подобно телеграфным столбам, видимым из окон быстро мчащегося поезда, и только точка, которая завершит фразу, еще впереди, и ее я сейчас ставлю.

Сейчас?

Нет, она тоже была в Будущем, осталась в Прошлом.

\* \* \*

Господи, к чему все эти плоские мудрствования?

Больше двух лет я откладываю эту работу со дня на день, с часа на час. Хоть и каждый миг моей жизни заполнен ею, я боюсь приступить к ней, боюсь начинать писать то, что хочу написать. Начав же писать, боюсь перейти к сути.

Боюсь, перо мое зальется кровью.

(Сказано для красного словца.)

\* \* \*

Каждый человек делится на части, разрывается, раздваи­вается, живет в двух мирах – во внешнем мире и в мире внутрен­нем.

Хотя внешний и внутренний миры человека находятся в постоянном соприкосновении, контакте, они отделены друг от друга прочными преградами; не каждое слово, не каждую мысль, не каждое чувство мы выпускаем из внутреннего мира наружу, а если все же выпускаем, прежде сто раз обдумаем: как будет выглядеть во внешнем мире наше перешагнувшее границу слово, чувство.

Приобретут ли нам друзей или врагов?

Будут ли на пользу нам или во вред?

Славу принесут или неприязнь?

Так же и каждого нового человека, каждую идею, каждое впечатление, стремящихся проникнуть из внешнего мира в наш внутренний мир, мы тщательно досматриваем на границе: на кого, на что похож этот входящий? Идет ли он как шпион, чтобы, разузнав секреты нашего внутреннего мира, «выдать» нас? Или он – диверсант, разрушитель, намерен взорвать все, что мы так долго и упорно строили, возводили внутри себя?

Или это праздно любопытствующий сплетник, рыщущий в поисках пищи для своих будущих бесед?

Если любим, то любим изнутри.

Наш внутренний мир так же, как и внешний большой мир, просторен, всеохватен, в нем спуски и подъемы, тепло и холод. Внутри у нас – вершины, которые, возможно, мы не покорим никогда, но по мере того, как мы карабкаемся на их высоты, наши легкие наполняет прохлада горного воздуха. Внутри у нас – бездонные пропасти, овраги, колодцы. Есть и такие глубины, дна которых, возможно, никогда не сумеем достичь. Внутри нас – ухабы, непроходимые дебри, непроглядная мгла.

Между внутренним миром и внешним миром – долгий путь, большое расстояние. Это расстояние равно длине наших ресниц.

Между нашими двумя мирами – тяжелая дверь – веки наших глаз. Открываем глаза – выходим из Внутреннего мира во внешний. Закрываем глаза, слипаются ресницы – возвращаемся во Внутренний мир.

У одного старого, очень одинокого писателя была привыч­ка: иногда в многолюдном, шумном обществе он закрывал глаза, если спрашивали, он отвечал: «Мне скучно». Когда однажды он закрыл глаза навсегда, его единственный друг сказал: «Как видно, скука стала непереносимой».

Сколько бы мы ни исходили дорог внешнего мира, по­следнее путешествие наше – не в землю, а в наш внутренний мир, В землю нас зарывают потом, после нас – другие. Сами же мы, чтобы достичь конечной цели своего пути, перешагнув последний рубеж, закрываем за собой дверь – опускаем веки. На этот раз навсегда.

Возвращаемся в наш внутренний мир – в нашу первую и последнюю вселенную.

Но есть еще один шаг. На «пяди пути между жизнью и смертью», миг между двумя мирами.

Я нахожусь между двумя мирами,

Один – действительный,

С радостями, волнениями,

Воспоминаниями, забвениями.

Другой – неизведанный,

Потусторонний.

Кто знает? Кто знает, сколько осталось до невидимой цели, до того берега. Сколько есть до срока – год, день, час?

 «Пока есть время», я прохожу это расстояние длиной с ресницу, смыкаю тяжелые веки глаз, погружаюсь в мир вос­поминаний. Вспоминаю...

\* \* \*

*«Возвращение дорогой воспоминаний к минувшим дням, годам, повторное проживание былого мучительно. Оживают события, картины, слова, взгляды, улыбки, увлекая человека в мир, который не вернуть назад никакой силой, никаким чудом. Радостные мгновения вызывают сожаление тем, что миновали, невозвратимы. Горестные, горькие воспоминания тоже причиня­ют боль. Наши воспоминания всегда моложе нас. Это – знакомые голоса, которые мы слышим из прошлого».*

И приведенные выше стихи, и эти слова принадлежат Расулу Рза.

*«Жизнь странная штука. В ней есть такие страницы, кото­рые трудно понять, объяснить, еще труднее – забыть».*

И это его слова,

*«Мы всегда старше наших воспоминаний».*

И эти...

Последние двадцать лет жизни болезни – одна тяжелее другой, раздражительность, усталость, своего рода безразличие разрывали на части, расплавляли, гасили его изначально очень цельную натуру, крепкое здоровье, жизнелюбивую, оптимисти­ческую природу, в особенности же стойко сносящее все болезни сердце, но когда заходил разговор о сроке жизни, он неизменно повторял; «Я обязательно увижу конец XX века, встречу XXI век, поживу в новом тысячелетии хотя бы один денек, потом уйду».

Мы, его близкие, даже наши родственники-врачи, вроде бы всерьез воспринимая эту шутку, соглашались: «Конечно, обязательно». Хотя все мы понимали, что это – химера.

Разве сам он не понимал?

\* \* \*

Герой пьесы «Лето в городе» Гияс – ему примерно 40- 42 года – говорит: «Большая часть моей жизни прожита, осталась меньшая».

Когда я писал эту пьесу, мне было тридцать девять лет. Разумеется, автор – не прототип Гияса, но на каждом спектакле, когда я слышал из уст актера эти слова, мне казалось, что это и мой жизненный срок.

Это меня трогало.

Автор, растроганный собственным произведением, – курьезно, не правда ли? Прекрасный повод для ехидной шутки.

Но в этой работе я не хочу скрывать что бы то ни было, умалчивать о чем-то, пусть даже о своих самых мимолетных ощущениях.

Теперь мне 46, Я уже совершенно точно знаю, что большая часть моей жизни прошла, осталась меньшая. Я думаю об «оставшейся мне малости».

В вагоне позднего трамвая

С дождем мы едем в старость оба,

Дождь движется со мной бок о бок,

Кружками к стеклам приставая.

А стук колес уходит в прошлое,

Напоминая мне без жалости

О том, как много мною прожито,

И об оставшейся мне малости.

(Перевод К. Симонова)

Хотя бы мне удалось достичь того, что было не суждено моему отцу: проводить XX век, встретить III-е тысячелетие.

Ну и что? Допустим даже, что я достиг этого рубежа, миновал его, перешагнул за возраст отца – 71 год, дожил до 80-90. Даже если будет так, все равно отныне для меня существует только Прошлое.

Если нет Теперь, если человек живет только Прошлым и Будущим, я выбираю – Прошлое.

Прошлое – это воспоминания, ассоциация. Будущее надежды, предположения. И то и другое столь же реальны, сколь нереальны, столь же действительны, сколь призрачны, перелив­чаты, как мираж.

А если так, не предпочтительно ли жить ассоциациями, вспоминая о том, что было, чем увлекаться надеждами, которые неизвестно – сбудутся или нет.

Вспоминаю?

за сколькими такими вечерами

на дальнем берегу жизни,

за грудой собранных лет

величиной с гору,

оставшиеся дни?

Это строки моего отца.

Ближние воспоминания

бывают болезненными,

причиняют страдания.

Дальние –

сдержанны, спокойны...

И эти...

\* \* \*

Вспоминаю...

*«Анари, здравствуй!*

*Мы мало с тобой поговорили, и ты, кажется, обиделся на меня. Нет, не обижайся, сынок.* Я *теперь смотрю на тебя не как на ребенка, а как на зрелого юношу. Вот почему хочу, чтобы, когда меня нет, ты был бы мужчиной в доме, заботился о маме, сестрах. Напиши мне, как дела? Что нового пишешь?*

*Я начал работать, время от времени пишу и коротенькие стихи. Здесь хорошо работать. Но тоскливо, очень тоскливо. А я налягу на работу.*

*...Что еще написать? Ничего такого интересного нет. Как ты сам? Что нового в Баку?*

*Пока. Целую тебя.*

*Мой хороший мальчик, любимый сынок. Как у тебя отно­шения с Тараной?[[2]](#footnote-2)*

*Смотри, если будешь ее обижать, я тут почувствую и не смогу работать.*

Расул. Переделкино».

*«Здравствуй, дорогой сынок!*

*Как здоровье, как настроение?*

*Что в Баку нового? Посылаю книжку о Гамлете англичан. Здесь кое-что увидите.*

*Анарик, я три раза звонил, тебя дома не было. Неужели мои последние слова перед отъездом ты так неверно понял? Ведь я не хотел и не хочу тебе читать нравоучение. Ты достаточно умен, сообразителен и сознателен, чтобы тебе делать повтор­ные замечания.*

*Вынужден уточнить мои последние прощальные слова.* Я *сказал тебе: веди себя так, как если бы я был дома. Нужно ли добавить к этому, что у тебя главное внимание и подавляющее большинство часов должно быть занято учебой, творчеством.*

*Я хочу быть уверенным и спокойным, что ты поступишь не как легкомысленный юноша, а как человек.*

*Целую тебя. Пиши.*

Любящий тебя отец. Переделкино».

Оба эти письма были написаны в начале 50-х годов, когда мне было 14-15 лет. Это первые из писем, которые примерно за 30 лет написал мне отец из разных мест и в разные места. Их теперь у меня сохранилось сорок четыре. Эти и последующие письма я привожу с минимальными сокращениями.

*«Анар, здравствуй.*

*Правда, тебе не нравятся красоты природы, но если бы ты был здесь, то тоже восхищался бы видом сочинских гор, дорог, моря.*

*Я живу в комнате, обозначенной значком «X». Перед нами – море, по бокам и сзади – зеленый парк. Здесь есть удивитель­ные деревья. Привезенные из разных концов мира, деревья придают особый облик здешним паркам, улицам. Одна из основных улиц примерно на протяжении 152 метров с двух сторон обсажена чинарами. Помнишь чинары в Геокчае? Эти еще ветвистее.*

*Здесь люди уже теперь купаются в море. Погода была не­много дождливой, сейчас наладилась.*

*Ну, пока.*

*Как твои уроки? Серьезно ли ты стараешься? Ани, детка, не забывай, что возможность для нас спокойно, хорошо отдох­нуть летом зависит от твоего теперешнего усердия. Никаких книжек, наляг только и только на уроки. Целую тебя.*

Расул.

29.IV.1954 г., Сочи».

*«Мой Анар!*

*Здесь так красиво, что словами не описать. Чтобы хоть не­много передать красоту здешних картин, нужно, собрав вместе талант и старания Айвазовского, Левитана и Шишкина, добавить к ним игривость пушкинского стиха, тоску Физули, жар и страсть Лермонтова и сухость X., потому что здесь есть и сухие деревья, голые камни и некоторые существа, вызывающие у человека антипатию. Только в результате такой операции, может быть, удастся создать представление о сегодняшнем Сочи, особенно о санатории, где я отдыхаю. Ани, детка, как твои дела?*

*Как уроки? 4-ки ликвидированы? Что в футбольном мире? Наши проигрывают или пока нет? Напиши мне. Целую тебя.*

Расул.

18.V.I954. Сочи».

*«Анар! Твое письмо не получил. Видимо, потому, что ты его еще не написал. Если после пятичасового дневного сна и шестичасового лежания на боку останется время, пиши мне.*

*Здесь хорошо. Отдыхаю. За телеграмму спасибо.*

Расул.

19.V.I954. Сочи».

\* \* \*

Горе меняет нас. Делает если не мудрее, то, по крайней мере, старше. День горя равен годам беспечного существования.

В 1981 году в течение ста дней я потерял двух самых любимых людей: 1 апреля, в день озорных розыгрышей, в день веселых шуток, скончался мой отец, и я до сих пор не могу поверить, что это правда. 10 июля умерла мама.

Оба скончались на моих глазах.

Отец умер в течение получаса.

3 апреля мы похоронили его, а на следующий день, – приехавшие из Москвы врачи поставили окончательный при­говор маме: безнадежна, протянет от недели до месяца.

Она прожила 3 месяца и 6 дней.

Мой отец ушел, не ведая о неизлечимой болезни мамы.

Мама не узнала о смерти отца; ровно сто дней мы скры­вали от нее эту потерю. Вернее, 98 дней, – последние два дня она была без сознания, ничего не воспринимала.

На один день,

на один час,

на один миг,

если бы мог я расстаться с моей памятью,

то отдохнул бы,

отпраздновал бы свое освобождение

от памяти.

Куда бы ни пошел,

где бы ни был,

со мной моя память,

Не знаю, как мне избавиться,

куда бежать

от липкой, как клей,

неотвязности моей памяти.

Пока жива моя память, в ней будут жить эти сто дней. О моих «ста днях» это повествование. О ста днях и двух смертях.

\* \* \*

...О двух жизнях. О последних днях двух неповторимых людей. О большой жизни двух художников и еще об одной маленькой жизни, моей собственной. О ста днях моей жизни.

О ста днях и всех других днях – днях, ночах, неделях, месяцах до этой сотни, внутри и после нее.

О моей жизни, прошедшей с их жизнями, моей жизни, прошедшей с их смертью, моей жизни, проходящей без них.

Однажды ты будешь без меня.

Сказать «я буду без тебя»

У меня язык не поворачивается.

Эти строки Расул Рза посвятил Нигяр Рафибейли.

Еще одна последняя весна слетела

с календаря моей жизни.

Ни любовь моя к тебе,

ни тоска не уменьшились.

Я и сама не знаю,

почему на протяжении всей жизни

Взгляд мой устремлен

на дальние дороги – на твой путь.

...Весенние цветы

пусть не распускаются, не вянут

без тебя,

Жизнь моя без тебя пусть не будет,

поэзия моя пусть не будет без тебя.

А это строки Нигяр Рафибейли.

Один без другого не были они на свете. Ни одного дня.

\* \* \*

*«Анар, привет!*

*Я послал тебе с Нигяр некоторые материалы. Сегодня по­сылаю тебе правила приема в университет. Как по результатам беседы, так и из правил приема выясняется, что на всех факультетах уделяется большое внимание русскому языку и иностранным языкам. Даже после того, как отлично сдашь все экзамены, ты должен будешь до приезда в Москву серьезно заниматься русским и английским языками. В этом году вопрос поступления в высшие учебные заведения стал более сложным и серьезным, поэтому желающие поступить будут здорово готовиться.*

*Прежде чем дать тебе совет по поводу выбора института, я мимоходом обрисую тебе эти институты на основании получен­ной информации.*

*Институт имени Горького Союза писателей помещается неподалеку от Пушкинской площади в здании бывшего так на­зываемого «Дома Герцена». Ты знаешь, что в свое время Маяковский писал о дурной «славе» этого дома. В то время здесь был писательский клуб. Братья писатели здесь здорово пили, буянили и занимались прочими подобными делами. С тех пор прошло много времени, многое изменилось, теперь в этом здании помещаются Институт и двухгодичные высшие писатель­ские курсы (по типу аспирантуры). Но здесь сохранились и многие «дела», вроде описанных Маяковским.*

*...Многие студенты налегают на перебродивший виноград­ный сок и подобные ему «крепкие напитки». Хотя известно, что если бы каждый пьяница был писателем, тогда бы все пивные точки, винзаводы и кабаки назывались писательскими школами и все пьяницы были бы членами Союза писателей. Ты скажешь, таких немало в рядах писателей. Но ты ведь знаешь, что это ни в какой степени не свидетельствует о высокой степени таланта таких людей.*

*Это одна сторона дела. Вторая сторона – то, что боль­шинство поступающих туда полагает, что этот институт есть только институт «творчества», причем это «творчество» понимают очень странно. На другие уроки смотрят мимоходом, занимаются только написанием любовных историй. Написанное ими в большинстве своем абстрактные произведения, не имеющие никакой связи с жизнью народа.*

*Разумеется, и здесь есть студенты, которые терпят всяческие трудности и лишения, чтобы выучиться, расширить свои знания и кругозор...*

*Если кто-то действительно хочет стать образованным, человеком, получить высшее образование, накопить силы для подлинного серьезного творчества, конечно, такое возможно и в этом институте. Здесь проходят историю литературы, язык, логику, философию и пр.*

*Положительной стороной является то, что серьезный, умный, внутренне чистоплотный и благородный человек может здесь многое приобрести для будущей творческой работы.*

*Посыпаю тебе и приемные документы университета. Здесь есть сведения обо всех отделениях. Видишь, и тут уделяется много внимания языку.*

*Гуманитарные науки в старом здании, точные науки – в новом, на Ленинских горах. Этот факт, кажущийся на первый взгляд незначительным, вовсе не случаен.*

*Факультеты, находящиеся в здании на Ленинских горах, считаются во всех смыслах более серьезными, более нужными. Эти факультеты дают определенную профессию. Гуманитарные же науки, хотя формально и определяют профессию, в сущности, дают сравнительно мало, Подумай сам, сколько не получивших специального образования редакторов, писателей, даже истори­ков и философов. Но инженеров, врачей, геологов и людей подобных профессий, не получивших специального образова­ния, – один из тысяч. Я хочу сказать, что точные науки дают более научные, конкретные и обширные знания. Человек, окончивший эти факультеты, может работать в любом месте огромного Советского Союза. Тогда как область применения гуманитарных наук более ограниченна. Это связано с местными условиями и прочими подобными вещами.*

*Например, очень интересно геологическое отделение уни­верситета. Открытые ныне новые области физики в непред­ставимой степени обширны и романтичны. Недавно в «Правде» была статья одного академика (я забыл фамилию). В этой статье говорилось о новой вычислительной машине. Ты найди эту статью и прочитай. Такое впечатление, что все это – сон.* Я *пишу тебе об этом, чтобы ты еще раз хорошенько подумал. Речь не о твоем таланте, умении или неумении писать. Я на основании прочитанных твоих вещей могу сказать: не имею никаких сомнений в том, что ты станешь писателем в самом серьезном смысле слова. Конечно, если этот имеющийся талант будет развиваться по правильному пути, обогащаться жизненным опытом, он даст хорошие результаты. Но не забывай и то, что если ты станешь геологом, врачом, физиком, это будет новым и весьма существенным дополнительным богатством к твоему таланту. Если же ты будешь заниматься только гуманитарными науками, то потеряешь все эти дополнительные возможности и богатства.*

*Я не хочу тебя расхолаживать, но считаю своим долгом сказать тебе все это в столь важный момент.*

*Ты знаешь, мое образование было очень отрывочным, несистематическим. Я не хочу, чтобы в этом плане твоя судьба походила на мою.*

*В университете есть также филологический факультет и факультет журналистики. Они готовят педагогов языка и литера­туры, редакционных работников, литературных сотрудников. Вообще, должен тебе сказать, что от самого студента в значи­тельной степени зависит, получит он совершенные или поверх­ностные знания в высшем учебном заведении. Поступай в любой институт, на любой факультет – какой хочешь,- от тебя потре­буется тяжелый, серьезный труд, ты должен знать, что «спокой­ная жизнь», которая имела место в средней школе, теперь останется позади, как воспоминание. Высшая школа требует систематической, глубокой, неустанной, самоотверженной работы. Конечно, и здесь можно ничего не делать, проводить день за днем, кое-как перебиваться. Но все это будет за твой счет. Все это будет за счет снижения твоих знаний, превращение в половинчатые. Здесь педагог может только дать тебе совет, добавить силы твоему усердию, но никогда не сможет подменить тебя. Ты скажешь, эта особенность присуща не только высшей школе, но и средней. Верно. Но тут есть разница: в высшей школе от тебя требуется в пять раз больше воли, самостоятель­ных действии.*

*Чтобы приобрести знания, стать культурным человеком, расширить свой кругозор, помимо высшего учебного заведения есть и такой большой университет, как московская среда, московская жизнь. Но эта жизнь похожа на море; если ты не освоил его глубокие и мелкие места, ветреные, спокойные стороны, не уяснил четко, где омут, где подводные камни, оно может быстро уничтожить тебя в своем водовороте.*

*С первого июля здесь начнутся консультации и в универ­ситете, и в институте им. Горького. Посоветуйся с Нигяр, может быть, для участия в этих консультациях нужно приехать в Москву немного раньше. Если ты окончишь школу с медалью (я хочу быть уверен в этом), тогда обойдется и без консультаций. Но независимо от того, с какими итогами ты окончишь школу, необходимо тщательно заниматься русским и английским языками.*

*Обязательно на месяц-полтора надо нанять педагога. И русским языком и английским языком необходимо заниматься каждый день. Не забывай, что в этом году и медалистов будут принимать в институт с очень серьезной проверкой. Если даже в ближайшее время правила относительно медалистов не изме­нятся, сама эта штука, именуемая «собеседование», – тоже своего рода экзамен. Во время этой беседы, проверяют общий жизненный кругозор и развитие студентов.*

*Мой дорогой сын! Я не хочу обещать тебе никаких облег­чений, поблажек. Мне кажется, у тебя и необходимости в этом нет. Я лишь призываю тебя серьезно стараться, быть готовым к самому серьезному экзамену, к самому тяжкому труду.*

*В конце концов, ты можешь спросить: а куда ты все же советуешь мне поступить? Я советую тебе избрать одну из точных наук, например геологию, но если ты решишь поступать в институт Горького или на отделение филологии или журналис­тики МГУ, я не скажу «нет» и не стану упрекать тебя в том, что, мол, ты пошел против моей воли. Потому что я описал тебе все подробности. Я верю, что ты, приняв во внимание написанное мною, прислушаешься к голосу собственного сердца и примешь правильное решение. Этим я не хочу возложить на твои плечи ответственность за предстоящий тебе очень серьезный выбор. Моя цель в том, чтобы не насиловать твое желание и волю.*

*Ну, пока. До свидания, сынок!*

*Привет от меня Нигяр. Прочти ей письмо, послушай, что она скажет.*

Твой отец Расул.

27. V.1955 год, Москва».

\* \* \*

Гораздо труднее переносить более поздние стадии горя, чем изначальные, когда возбуждение, шок, обостряя наше восприятие, притупляет ощущения. В первые моменты потря­сения боль как бы замораживает наши чувства. Пугающая бездна отчаяния пока еще не разверзлась перед нами во всей своей жуткой глубине. Скорбь, печаль, траур, как говорится, носят официальный характер, официально санкционированы, приемлемы, законны, ни у кого не вызывают удивления. Есть ритуал, есть традиции веков, поколений. Есть соучастники горя. До сороковин.

А сорок первый день? И начинающаяся с этого сорок первого дня череда всех других дней, месяцев. Да, есть еще годовщина... Еще один день, отпускаемый трауру обычаями, правилами, традициями. Последняя скорбь. Последний день траура, когда в определенный, условленный час у могилы со­берутся родственники, знакомые. Последний долг...

Последняя память.

А все остальные дни, недели, месяцы, года? А минуты, часы, дни других годов?

Ночи?

Те дневные минуты, те тянущиеся бесконечно нескончае­ма ночные часы, когда ты остаешься один на один со своим горем, потерей!

...Кому я поведаю свое горе,

Ведь мир полон людьми?!

Кому выскажешь свое горе? К кому полезешь с ним? К месту ли перед каждым раскрывать свое горе, как скатерть? Не будешь ли выглядеть назойливой плаксой? Как говорил Сабир, «плача, мужчина становится слабодушным».

Нет, конечно, нет, плакать нельзя, не годится и делиться с каждым, говорить о том, что ты переполнен рыданиями, что ты ходячий сосуд невыплаканных слез. Исчерпан срок: лимит времени, отведенный для горя, истек.

На свете нет людей без горя. У каждого свои потери, свои беды. Если каждый всю жизнь так и будет жить, лелея свою боль, если каждый будет делиться постоянно своим горем с каждым встречным, будет нагружать и без того отягощенных тысячами забот людей еще и своими собственными печалями, к чему это приведет?

...И тогда наступает момент, когда ты вкушаешь полную меру горечи подлинного одиночества в мире, полном людей. Хочется бежать от мира, от его звуков и шумов, красок и суеты.

Хочется бежать, избавиться от самого себя. Но бежать некуда.

\* \* \*

В августовский вечер 1981 года на балконе девятого этажа стоял человек. Он был один в своей квартире. Семьи его в городе не было. Он смотрел с балкона вниз – на видневшуюся с расстояния девяти этажей улицу с мчащимися машинами.

Улица будто звала его. Звала спуститься не в лифте, не по лестницам, а вот так: броситься в ее лоно быстрым прыжком, отпечататься на асфальте, в одно мгновение преодолеть путь длиною в жизнь. Путь между жизнью и смертью.

Сосредоточить волю, прийти к окончательному, последне­му решению; одно-два легких, простых физических движения, мгновенный полет. Полет, в течение которого не успеешь даже подумать о безвозвратности. Удар, мрак и конец...

Мир тьмы и безмолвия. Как говорил Гамлет: «Дальше – молчание».

Ни воспоминаний, ни потерь, ни сладости прошлого, ни горечи настоящего, ни пустоты грядущего. Ничего. Ничего.

Зовет улица, зовет к подножью девятиэтажного дома... Без лифта, без лестниц... Перила балкона человеку до пояса.

Меня отдохнуть зовет

вечной разлукой

опечаленное прошлое мое.

Не верьте тем, кто говорит: «Самоубийство – слабость». Не каждый человек способен на такой шаг. Но, может быть, и для того, чтобы остановиться у последнего порога на расстоянии пяти пядей, перил, девяти этажей, тоже требуется воля.

\* \* \*

Я должен жить. Не для себя, для других, для близких и дальних. Для живых, оставшихся, тех, кто есть.

...И для Них, тех, кого нет, для ушедших. Для моих мертвых.

*Пока я есть, есть и Они. Это и друг знает, и враг.*

*Пока я живу, живут и Они. Кто рад этому, а кто нет.*

В «памяти глаз моих» сто выражений их лиц, их грусть, радость, улыбка, печаль.

В «памяти ушей моих» – тембры их голосов, их слова, строки, манера разговора, произношения.

В «памяти моего сознания» – их мысли, убеждения, заблуждения.

«В «памяти сердца моего» – их надежды, сожаления, привязанности, обиды.

Конечно, все это живет не только во мне. Все это – в Их стихах.

А стихи принадлежат Литературе, Народу, Азербайджану.

Я путник,

Я в пути,

Что вынес огонь,

У пепла спроси!

Какой мой стих,

Какое слово

Будет жить после меня,

Я не знаю,

У народа спроси!

(Расул Рза)

Из твоей земли

Я выросла,

родина моя...

Ожила, поднялась,

Стала полным зерен колосом,

Любовь к тебе

Жила в моем сердце,

Родина моя.

Если однажды в моей груди

Не станет биться это сердце,

То даже под землей

С любовью к тебе

Всегда будет биться оно!

(Нигяр Рафибейли)

\* \* \*

Смерть – это не отрицание жизни, а ее утверждение, ее окончание, итог, завершение Французы говорят: подобно тому, как вечер венчает день, конец венчает жизнь.

Когда сегодня я думаю о завершенных, законченных, подытоженных смертью жизнях отца и матери, мне кажется, что вихрь, прошедший весной – летом 1981 года и в течение трех месяцев и 10 дней унесший Расула Рза и Нигяр Рафибейли, не обычным явлением реальной жизни. У цепи событий весны 1981 года были некие мифологические масштабы, некое притчевое измерение, эпический дух.

Но разве не были дастаном не только конец их жизни, но и все иные годы? Дастан Храбрости и Мужества. Любви и Милосердия. Дастан, полный драматизма. Порой трагизма. Но и светлейших минут счастья. Упоительных радостей, озорства, неукротимой молодой дерзости. Нежности. И потерь. В этом дастане – счастливые дни тяжелых лет и тяжелые дни счастливых годов. Страдания, боль, разочарование. И надежда, вырастающая с самого дна отчаяния...

\* \* \*

*«1957. 7 января. Москва Дети мои – Анар, Фидан[[3]](#footnote-3)!*

*Здравствуйте. Вы написали мне письмо вместе, поэтому и я пишу вам обоим сразу... По поводу ленинградской постановки. (Отдыхая в Переделкино, отец съездил в Ленинград на премьеру балета Кара Караева «Тропою грома» и, написав арабским шрифтом рецензию на спектакль, послал нам – А.). Пусть Нигяр – почитает, а вы послушайте, я не хочу повторяться. Скажу только, что три дня нахожусь под его впечатлением. Жаль, что вы сами не могли послушать. Наверное, вы поняли бы еще лучше меня и получили бы большое удовольствие. Может быть, летом удастся, вы приедете и посмотрите. Я дней на 8-10 отвлекся от работы. Сегодня пишу вам письмо, а с завтрашнего дня примусь за продолжение «Физули»[[4]](#footnote-4). Мысли в голове – как пчелы в улье, посмотрим, что выйдет. Здешние места очень благоприятны для работы. Тихо, спокойно. Вчера, когда был в Москве, позвонил Эмин (композитор Эмин Сабитоглу в то время учился в Московской консерватории. – А.), сказал, во время каникул поедет в Ленинград посмотреть «Тропою грома». Хотите, и вы приезжайте, я вас встречу и провожу.*

*Что интересного в Баку? Как проводите время? Как пластинки? Напишите мне, какие еще надо купить. Куплю в Москве. Когда приеду, я привезу с собой не только поэму, но и весну.*

*Целую вас крепко-крепко. Тарану не обижайте, не оби­жайте ее. И ты, и ты. Тарану не обижайте. Вы слышите? Вот ты, Анар, и ты, Фидан, не обижайте, не обижайте мою младшую доченьку Тарану, смотрите не обижайте. Слышите?*

*Целую.*

*Расул».*

*«Анар, детка!*

*Я получил твое письмо, большое спасибо! На то, чтобы прочитать его, потратил семь часов 8 минут 11 секунд. Прекрас­ный у тебя почерк, ничего не скажешь.*

*Ани, детка, в день, когда получишь это письмо (в тот день, как получишь!), вместе с Нигяр, конечно, при участии Фидан и с главным консультантом Тараной выберите три-четыре самых лучших моих фотографии и пошлите авиапочтой по адресу: Москва. Гостиница «Москва». До востребования».*

*И еще книгу Физули с поэмой «Гашиш и вино» и касыда­ми (это должен быть II том) по тому же адресу вышлите тоже авиапочтой.*

*Я написал бы тебе длинное письмо, но Физули не согласен.*

*Расул*

*22 декабря 1957 года».*

\* \* \*

\* \* \*

Когда это началось? Где начало этой дороги потерь? В первые дни 1981 года? В начале или середине марта? В конце февраля?

В конце февраля я вернулся в Москву из зарубежной поездки. В последние годы все мои поездки, особенно зару­бежные, как бы интересно ни проходили, омрачались тревогой, которую ничем невозможно было унять. Каждый раз, когда я на неделю, на 10 дней отлучался из дома, не имея возможности поддерживать связь с Баку, я испытывал чувство цепенящего страха. Мне казалось, что вот сегодня, этой ночью, сейчас, в самой далекой зарубежной стране меня разыщут через посольство и сообщат черную весть об отце. Что страшная весть может быть связана с мамой, мне не приходило в голову.

Почему?

Может быть, потому, что отец давно был тяжело болен?

Мама тоже болела, но ее болезни не бывали такими про­должительными, не казались столь фатальными.

Хотя в 1971 году она стояла лицом к лицу со смертью.

Должен сказать, что в каких-то вещах мама была более крепкой, более выносливой, более терпеливой.

«Дозюм» – «стойкость». У Расула Рза, нашедшего, по­любившего это слово и назвавшего так книгу, утвердившего его своим жизненным девизом, было полное право говорить об этом качестве в литературной и общественной жизни.

Но в быту, в противостоянии невзгодам, болезням Нигяр Рафибейли была более стойкой.

Отец часто бывал нервозным, раздражительным, нетерпе­ливым.

Мама всегда – терпеливой, спокойной, выдержанной.

Я могу себе представить, что если бы мама потеряла моего отца (вернее, если бы знала, что потеряла, потому что потеряла - и не узнала об этом), возможно, она смогла бы мужественно перенести боль этой потери, это горе. Может быть, у нее даже хватило бы сил, воли, стойкости прожить без Расула какое-то время.

Отец, потеряв Нигяр, не смог бы прожить ни дня.

Жизнь это подтвердила.

Вернее, смерть это подтвердила. Его смерть.

\* \* \*

Но кто знает? Кто теперь может это установить? В 1973 году, когда отец тяжело болел, жизнь его висела на волоске, и надежды на выздоровление было очень мало, мама проявила поразительную силу воли, стойко переносила все тяготы ухода за тяжелобольным, сама не падала духом и нам не давала отчаиваться, терять надежду. Только однажды, единственный раз, в один из самых тяжелых для больного часов, она сорвалась, вышла в коридор, заплакала: «После него какой смысл в моей жизни?»

Эти слова я слышал от мамы первый и последний раз.

\* \* \*

С приближением конца зарубежной поездки к нетерпению возвращения примешивалась и тревога. Мне явственно, ощу­тимо до реальности представлялось, как на аэродроме в Ше­реметьево меня встречает один из близких московских друзей и осторожно, не сразу, а так, постепенно, подготавливает к страшной вести.

Вообще большую часть своей жизни я прожил в себе. Ка­кая надобность делить с другими чувства, страхи, волнения, касающиеся меня, только меня одного. К тому же в этих тайных страхах, тревоге, которые я с такой ясностью и точностью осознаю теперь, тогда я не смог бы признаться даже самому себе. Не решился бы. И мне казалось, что никто не догадывается о них, хранимых в самых укромных уголках внутреннего мира. Оказывается, я ошибался.

На кровати

на лицо Расула Рза

лег белый сон столетий.

Анар, сраженный,

 сжался в углу...

С волос его, бровей, лица

стекает, льется

страх, который столько лет уже

он носит в сердце.

Прочитав эти строки Фикрета Годжи, описывающего в своем «Реквиеме» смерть моего отца и первые часы после его смерти, я понял, что не сумел скрыть «страх, который столько лет уже носил в сердце»... Во всяком случае, не смог скрыть от глаз поэта.

\* \* \*

Если я так боялся, то почему же выезжал в далекие путе­шествия? Первый приходящий на ум ответ – ответ этот не в мою пользу – таков, что страх страхом, но и удовольствия лишать себя не хотел. Если и есть в нем немного истины, то это не вся истина, не половина, даже не четверть ее.

Я не хочу оправдывать себя, приукрашивать свои поступ­ки. Но, как ни парадоксально это звучит, я должен был ездить. Любой отказ от какой-либо поездки насторожил бы родителей, для них это означало бы, что именно в этот период я жду чего-то ужасного.

Конечно, если папино состояние ухудшалось, я никуда не ездил, но в феврале 1981 года, отправившись в Италию, я оставил отца в сравнительно бодром состоянии.

\* \* \*

Я в номере московской гостиницы, набираю по телефону код Баку, потом папин номер, потом свой. Долгие-долгие гудки. Ответа нет.

Набираю номер сестры.

– Не пугайся, ничего страшного. Давление немного по­высилось, мы отвезли его в больницу. Там в палате есть телефон, хочешь, позвони.

Набираю номер больницы. Он сам берет трубку. Услышав мой голос, говорит бодрым тоном:

– Я себя чувствую хорошо. И Нигяр здесь, рядом со мной. Она тоже очень хорошо себя чувствует.

Трубку берет мама. В голосе радость, бодрость. Конечно, на расстоянии двух тысяч километров это един­ственное средство успокоить меня.

Довольные, веселые... Будто бы и не из больницы говорят.

*Но ведь знаю я, знаю...*

*Известно, что больные*

*не живут,*

*Больные дни и ночи*

*сражаются со смертью.*

*Некоторые шумно, громко,*

*некоторые молча, тихо;*

*как я...*

*Строки разных лет звучат в моей памяти:*

*Мозг требует фосфор,*

*сахара хочется сердцу.*

*Врач говорит:*

*сахара надо есть поменьше.*

*Пять, десять лет протянешь,*

*если будешь держать жесткую диету.*

Эти строки из его стихотворения 1958 года. Стойкий орга­низм, крепкое сердце позволили ему прожить двадцать три года после написания этих стихов.

Но все эти годы и смерть жила «в его сердце, в его мозгу».

*День смерти чинары*

*начался с первого побега,*

*с первого листочка.*

*Век за веком жила эта смерть*

*в ветке чинары,*

*в ее стволе, пне.*

*Не расставалась с чинарой*

*ни на миг, ни на день.*

*Хоть чинара не чувствовала это,*

*смерть прошла путь*

*от побега к побегу,*

*от листа к листу,*

*от листа к ветке.*

Смерть, не разлучавшаяся с ним как тень, не делала его пессимистом. Говоря о «конце удивительном дороги, именуемой жизнью», он думал не о смерти, а о жизни, людях, мире.

Но один неизбежный

закон есть у жизни –

днями-каплями

наполнится озеро жизни.

Как бы далека ни была,

придет однажды смерть...

...Если мне однажды придется уйти,

может быть, меньше станет

на каплю в море,

Но останется мир,

переполненный жизнью,

с бесчисленными людьми,

живущими, творящими.

Каждый день «на длину кинжала» приближал его к смер­ти. Но он был постоянно в движении, в пути. Шагал до тех пор, пока были силы.

*Не кончается путь поезда.*

*Дни проходят, ночи.*

*Еще сколько есть*

*садящихся со смехом,*

*садящихся с грустью.*

*Ни я не знаю, где сойду,*

 *ни те, кто в поезде.*

Может быть, поезд и не останавливается,

а сходящим так кажется,

садящимся так кажется.

Может быть, мне так кажется.

...ни дорога не кончается,

ни мечты.

Снова проносятся станции, полустанки...

Кто-то садится, кто-то сходит...

С поезда жизни на протяжении пути сколько сошло зна­комых, друзей, дорогих ему людей. Последние годы он вспо­минал их особенно часто, с особой остротой. Свою печаль по Мушфигу он выразил в поэме «Если б не было роз», он посвятил стихи, поэмы, строки Сабиту Рахману, Назыму Хикмету, Абдулле Фаруку, Микаилу Рафили, Джафару Джафарову, Авазу Садыху, Татулу Гурьяну, Лятифу Сафарову, Алиаге Кюрчайлы, своей сестре Туре, умершей молодой.

Сад без тени я не видел,

Горы величиной с народное горе не видел.

Закрыл глаза, открыл,

стольких друзей рядом не увидел.

\* \* \*

С осени 1962 года до весны 1964-го я учился в Москве, на Высших сценарных курсах. Часть писем отца и матери была написана в эти годы в Москву.

*«Анар, детка, здравствуй!*

*О Баку не беспокойся, все живы-здоровы. В союзе, в общественной жизни никаких значительных событий нет. Когда определится ваше местожительство, напиши, я подпишу тебя на местные газеты. Я написал вступление к «Краскам», посмотри, как тебе. Дай, пусть Чингиз (Ч. Гусейнов. – А.) переведет подстрочно, вместе с другими стихами даст на перевод. Если Винокуров не говорит ничего определенного, не связывайтесь. Может быть, не понимает, а может, ему не по душе, если же даст Случкому, пусть Чингиз дает не от моего имени.*

*Хорошо бы, когда Чингиз даст стихи кому-то, ты был бы там, потому что ты лучше сумеешь объяснить. Пока, будь здоров, сынок. Целую.*

Расул. 23.XI. 62 г. Баку».

*«Мой Анар!*

*Хоть бы это письмо немного согрело тебя в морозную стужу Севера. Смогло бы немного согреть сначала держащие это письмо руки, потом читающие его твои умные глаза и, наконец, твое поэтическое нежное сердце. О ногах я не говорю, потому что рисунчатые шерстяные носки и теплые ботинки, что ты взял хорошо греют твои ноги.*

*После твоего отъезда я несколько вечеров лила потоки слез, потом подумала, что сель этот может смыть Баку, больше не плачу. Мы живем по-прежнему. Расул днем уходит из дому на Радио, в издательство, Союз писателей или наоборот. В пять приходит, обедает, съедает горку орехов, фундука, гранатов, потом, удалившись в свою комнату, создает шедевры поэзии. Фидан занята арабским языком. Тарана готовит уроки, потом мы обе смотрим телевизор. Расул, время от времени выходя из комнаты, говорит нам: чего вы смотрите эту ерунду. И правда, хороших фильмов не показывают. Кошка Там-там, лежа перед камином, похрапывает в свое удовольствие. А чего ей не наслаждаться, ее сын ведь не уехал в Москву! Энвер (Э.Мамедханлы, писатель, двоюродный брат Расула Рза. – А.) иногда приходит, играется с Там-тамом, курит папиросы и молчит. А иногда свою месячную норму разговора выполняет за два часа. Что еще тебе написать, живу мечтой увидеть тебя. В этом месяце, наверное, увидимся. Как у вас дела, твои и Земфиры (моей жены. – А.)? Квартиру нашли? Анар, если ты не забыл арабский алфавит, я напишу тебе тем алфавитом, тогда можно будет написать длинно и обстоятельно. Целую тебя крепко-крепко.*

Твоя мама.

1-й день последнего месяца 1962 года».

*«Ани, детка, здравствуй!*

*Только что с тобой поговорили.*

*Собрание прошло неплохо. Как ни разрывались 3. и А., собрание их не поддержало. С мест раздались голоса протеста. Общий счет стал примерно 10-0. Во всяком случае, так говорят участники. Дело в том, что А. в своем выступлении сказал, что в последние два-три года формализм в творчестве Расула просто пугает и прочее.*

*Я не говорил, но в конце концов попросил слова для справ­ки... прочитал отрывки из 8-го номера «Азербайджана» за прошлый год. Здесь он говорит совершенно обратное тому, что сейчас, то есть как современно, хорошо я пишу. Ты должен помнить эту статью.*

*Там он советует читать мои стихотворения по нескольку раз, читать повторно, чтобы понять. «Когда я повторно читаю стихи Расула Рза, я вижу, как глубоко», и так далее Он ушел несолоно хлебавши.*

*Так будет и в будущем.*

*Привет друзьям. Целую.*

*Сейчас мы – все члены семьи – сидим и беседуем.*

Расул. 7.1.63».

*«Мой Анар!*

*Я от души приветствую подъем духа, который возник у вас после нашего отъезда (они были в Москве и вернулись в Баку. – А.). Столь быстрое завершение тобой сценария и погружение Земфиры в глубины науки показывает, что ваше будущее блестяще. «Праздная жизнь не может быть чистой». А. П. Чехов. «Безделье может сгноить человека». Нигяр ханым Рафибейли. Пусть эти цитаты из русских и азербайджанских классиков станут лозунгом вашей жизни. Горечь разлуки с вами мог заставить меня забыть только наш чудовище-дом. Как только приехали, дом, как дракон, раскрыл пасть и проглотил меня, а я начала раздирать его изнутри. В связи с наступлением весеннего сезона в доме – масса дел. Короче говоря, мой Анар, ханские внуки на отдыхе. Мягкий морской воздух, аромат цветущих деревьев и еще покой. Что еще, кроме этого, нужно писателю и человеку. Вспоминая дни, проведенные в Москве, я напеваю «Золотые денечки»...*

*Когда это письмо дойдет до тебя, наверное, вы будете го­товиться в дорогу.*

*Мой Анар, приезжайте поездом, чтобы я была спокойна. Баку все здоровы. Погода часто меняется. Что еще тебе написать. Письмо твое получила, большое спасибо. Привет Земфире. Целую тебя*

Нигяр.

12 апреля 1963 г.»

Когда они были не в больнице, а дома, я каждый день заходил в отцовским дом. Обычно днем.

Дневное время всегда более оживленно – солнечный свет, телефонные звонки, уличный шум, газеты, письма, кто-то приходит, уходит...

Но иногда я приходил к ним вечерами.

Говорят,

вечера приносят грусть.

Говорят,

сердце сжимает темная ночь.

Говорят...

Говорят...

А днями что?

Днями

мы с нетерпением ждем,

когда настанет вечер,

когда наступит ночь!..

В азербайджанском языке есть выражение: гериб ахшам – чужбинный вечер.

Печаль их чужбинных вечеров будет жить во мне до по­следнего часа. Слово гериб («чужбина») здесь очень точно; хотя они находились у себя в доме, они жили на чужбине времени.

Почему, почему, ну почему я, не отбросив в сторону все свои дела, самые срочные, неотложные, самые важные дела, не проводил с ними все вечера? Почему, зная, что однажды их не будет, предчувствуя горькую тоску утраты, я отгонял от себя эту мысль?

Непременно месяц, одну-две недели, хотя бы несколько дней, забыв весь свет, весь мир, дела, заботы, в Баку ли, в Бузовнах или в Геокчае, побыть с ними вместе с утра до вечера, с вечера до утра – было недостижимой мечтой, недоступной грезой. Наговориться досыта, о прошлом, о былом. Почему не сбылось это, почему?

Как в детстве – пожить вместе, но не с непрояснившимся младенческим сознанием, а с разумом взрослого, зрелого человека, слушать их день за днем, вечер за вечером, утро за утром, впитывать, запоминать.

Почему это оказалось невозможным, почему?

Какие собрания, художественные советы, редколлегии, выступления, встречи, путешествия, текущие дела, дружеские пирушки, радости общения со сверстниками и все иные радости жизни отняли у меня эти часы, эти дни – мои часы с ними, мои дни с ними? Что из перечисленного выше могло быть для меня дороже, ценнее, роднее, ближе, чем их лица, слова, голоса или просто их молчание. Наша общая тишина.

\* \* \*

Вечера. Их вечера. Вечера последних лет.

Комната была большой, может быть, поэтому люстра не могла освещать ее ярко, здесь всегда если и не полумрак, то, во всяком случае, и не светло.

Включен телевизор. Они – два старых человека – сидят перед телевизором. Мама смотрит на экран, отец нет, сидит перед телевизором, но глаза закрыты.

После «то да се, как дела, все в порядке» молчит, не раз­говаривает. В коридоре мама говорит, «он и со мной не говорит, как будто темы не находит для разговора. Все вечера вот так сидит перед телевизором, глаза закрывает, не смотрит, молчит. Не понимаю, если не смотришь, какой смысл сидеть перед телевизором?».

Может быть, он не смотрел, но слушал. Но что там слушать? Когда хотел послушать, включал маленький транзистор. Последние два-три года он и читать не мог много – глаза ослабли, быстро уставали, болели.

Наверное, в эти молчаливые часы с закрытыми глазами он целиком погружался в мир былого, в свой внутренний мир. В тот мир, где нет времени – Прошлое реально, наглядно, как Настоящее, и все – умершие, ушедшие, когда-то встреченные им в жизни – живы, вот они, здесь, рядом, разговаривают, смеются, плачут, машут руками… И мир расцвечен тысячами красок, тысячами оттенков.

Не знаю, один я такой

или – все такие?

Когда вспоминаю прошедшие дни,

Каждый день мне кажется окрашенным

в какой-то цвет,

суббота кажется желтой,

воскресенье – белым, пятница – красной.

Вспоминается мне дочка нашего соседа

с длинными черными ресницами,

а на шее у девочки

амулет.

Вспоминаются мне бабушки моей

голубые глаза,

ее добрые сказки,

суровость, гнев дедушки.

Дороги вспоминаются, пыльные дороги,

дороги с тамарисками, полынью,

дороги с турачами, зайцами.

Камышовая свирель моя вспоминается.

Дудочка моя вспоминается.

Вспоминается, как камышовым стеблем

срывал пестрый виноград

маленькими гроздочками

с недоступных веток.

Вспоминается,

как выкапывали из земли

красящие корешки.

Вспоминается, как в садах

срывали сладкий эвелик,

в горах собирал

сумах.

Чтобы отвлечь его от этого мира воспоминаний, раздумий, мира безвременья, чтобы развеять его одиночество, рассказываю об услышанном, увиденном, прочитанном – одним словом, о Сегодняшнем. Передаю ему разные новости, слухи, порой и сплетни. Он слабо улыбается, проявляет вялый интерес, но я чувствую, что все это воспринимается с полным равнодушием.

Иногда это выводило меня из себя: «Почему ты ни с кем не общаешься? – говорил я – Где твои сверстники, друзья?»

На этот многократно задаваемый вопрос он ответил толь­ко раз; ответ этот я никогда не забуду.

– Моими друзьями были Мушфиг, Фарук, Рафили, Сабит, Назым Хикмет, Джафар Джафаров[[5]](#footnote-5). Что мне делать, если никого из них не осталось.

Обращаясь к Сабиту Рахману, он писал:

На улице Коммунистической,

напротив скверика Сабира

«Гяндж ишчи»[[6]](#footnote-6)

был нам и местом работы,

и древом каждодневного пропитания,

и надежным испытанием.

Теперь тебя нет.

Мушфига нет,

Микаила нет.

Фаррука нет.

Самеда нет.

Али Назима нет.

Мехти нет.

Последние годы особенно часто вспоминал Назыма Хикмета. Когда Назым приезжал в Баку в 20-е годы, они с моим отцом не встречались. Познакомились они во второй половине в окончательный приезд Назыма в нашу страну в 60-х годах, и сразу же установились самые тесные дружеские отношения. В Москве и Баку были самыми дорогими гостями друг друга. Назым написал об отце три статьи, а отец о нем несколько стихотворений. Все эти стихи были написаны после смерти Н.Хикмета. Но еще в то время, когда он не был лично знаком с Назымом, когда поэт сидел в тюрьме Бурсы в Турции, отец написал стихотворение, посвященное матери Хикмета. Я не люблю это стихотворение. Оно мне кажется риторическим. А вот строки, посвященные Назыму после личного знакомства и общения с ним, после смерти Назыма, я не могу читать без волнения.

То, что он вспоминал Назыма в Стамбуле, в Турции – в Богазичи, Чинаралты, Бурсе, естественно, но и в Баку, в боль­нице, в дни болезней, страданий, в снах, в туманах сознания он, оказывается, разговаривал с Назымом.

И в стихотворении, написанном в Болгарии, есть строки, связанные с Назымом.

На горизонте – желтая тоска голубых глаз.

 Голос один:

– Сынок, сынок!

– Зовет Мемета...

...Задули ли над Черным морем

черные ветры?

Опоздал ли Мемет?

Заторопился ли зовущий?

...На горизонте – желтая тоска

голубых глаз,

на страницах любовь раненого сердца.

Мемет учится

в столице Польши.

Милый мой, брат мой, устад![[7]](#footnote-7)

Больше не зови,

не зови Мемета!

– Почему его не звать? – спрашиваю я у отца.

– Как это почему? – удивляется он моему не­пониманию. – Ведь Назым умер. Куда теперь ему звать Мемета, на тот свет?

Не понимаю, почему мысль, выраженная так ясно, не до­шла до меня сразу.

\* \* \*

Когда я учился в Москве, в 1962-1964 годах, отец подписал меня на несколько бакинских газет. Каждую неделю приходила газета «Адабийят ве инджесенет» («Литература и искусство»), и каждую неделю я читал на страницах газеты статьи об отце.

В 3 номере газеты от 13 января 1963 года был опубликован список произведений, представленных к Ленинской премии, среди них была и книга моего отца «Весна во мне».

В связи с представлением книги к премии газета опубликовала статью, выражавшую формально положительный отзыв, но оканчивалась следующими словами: «В стихах «Свет, падающий в мое окно», «Две истории» окончание слабо. Мысль, в стихах «Барашек», «Урок песни», «Гусь», в определенной мере туманна. Идея стихотворения «Белый слон» неоригинальна. Стихи «Баку», «Мама, что у тебя за горе?» далеки от лаконизма, носят риторический характер» и т.д.

«Поэт порой чрезмерно использует прозаические выражения, а это производит впечатление подстрочного перевода.

Несмотря на отдельные недостатки, книга стихов Расула Рза «Весна во мне» встречена с интересом» (19 января 1963 г.).

В другой статье, опубликованной в том же номере газеты, есть такой абзац:

«В иллюстрациях к книге «Весна во мне» молодой художник Т.Нариманбеков продемонстрировал бесполезные плоды формалистских исканий. Появление этих не имеющих никакой связи с жизнью, человеческим мышлением, абстрактных, чрезмерно условных рисунков – неприятное явление в обстановке борьбы с абстракционистскими, формалистскими кривляньями, идущей в настоящее время в советском искусствоведении». (19 января 1963 г.).

Вот таким тоном благословлялась книга, представленная к высшей премии страны.

Передовая статья газеты (9 февраля 1963 г.), озаглавленная «Творить для народа», можно сказать, целиком посвящена «Краскам» отца. Некоторые отрывки из статьи:

«Мы близко не должны подпускать к нашей поэзии, и вообще к литературе и искусству, абстрактный гуманизм. К большому сожалению, в нашей поэзии встречаются такие явления, как абстрактный гуманизм, разговор о человеке «вообще».

Широкой общественности известны заслуги перед литера­турой одного из выдающихся представителей нашей совре­менной поэзии, Народного поэта Расула Рза. Читателям хорошо знакомы его прекрасная общественно-политическая лирика, стихи на международные темы, удостоенная Государственной премии поэма «Ленин». Наряду со всем этим нашу литератур­ную общественность не могут не беспокоить серьезные изъяны, бросающиеся в глаза в ряде последних его стихов и особенно в цикле стихотворений «Краски» (журнал «Азербайджан», 1962, № 12). В этих стихах поэта явно чувствуются именно явления абстрактного гуманизма, отрыв от актуальных вопросов нашей современной жизни.

Можно сказать, все двадцать семь стихотворений цикла «Краски» оканчиваются такими отвлеченными мыслями и выражениями о человеке: «Человеческое тепло», «Понимаю­щий, чувствующий человек», «Человеческая забота», «Че­ловеческое деяние», «Человеческие раздумья», «Смеющийся, плачущий человек, человек, человек», «украшение человека», «глубоко вздохнул человек», «несчастная голова человека», «некоторые человеческие намерения», «мир человека» и т. д.

О каком человеке говорится в этих стихах? Что поэт хочет сказать человеку?

Совершенно ясно, что в этих стихах нет конкретного человека, мысли, высказываемые посредством красок, весьма абстрактны, туманны, и читатель затрудняется не то чтобы почувствовать, понять эти образы, но даже истолковать их смысл.

Из этих отрывков ясно видно, что в логике поэта нет никакой последовательности, в сопоставлениях нет реального представления о предметах, людях, событиях, в отношениях красок к человеку, в уподоблении их событиям имеют место несообразность и абстрактность. (Повторение в каждой фразе слова «абстрактность» связано с попыткой увязать «Краски» с тогдашней кампанией борьбы против абстракционизма в живописи. – А.)

Какая надобность у нашей поэзии в такой загадочности? Где затерялись традиции нашей ясной как по мысли, так и по выражению плавной и гармоничной советской поэзии, что такая «загадочность» и абстрактность находят к ней дорогу».

*«21 февраля 1963 г.*

*Мой сын, мой Анар!*

*Сегодня мы с Нигяр были в гостях у М. Очень он просил, вынуждены были пойти.*

*Меня очень умилила картинка жизни, которую я увидел у М. Какое сложное непостижимое существо человек. Один привязывается к собаке, другой к кошке, третий – к птице. Один получает удовольствие от покоя, другой – от жирной пищи, третий – от клеветы на всех.*

*М. ты знаешь. Невозможно не восхититься неуемной энергией этого человека. На днях с ним, Таиром Салаховым, Эльбеком (художник Эльбек Рзакулиев – А.) я ездил на Нефтяные Камни. Ты помнишь наше путешествие по Черному морю? С тех пор прошло столько лет. Как будто открыв двери 1963 года, я вошел в те далекие годы. М. был тот же, резвый, энергичный, услужливый (порой чрезмерно) М. Ни на йоту не изменился. Сегодня, когда мы были в его вместилище счастья, я увидел, какие богатые человеческие чувства живут в сердце этого человека, этого кажущегося таким простоватым человека. Я называю его дом вместилищем счастья. Если бы ты увидел нынешнюю четырехкомнатную радость этого человека, долгие годы, десятилетия жившего в хибаре, с тоской о солнечных окнах... ты бы тоже так сказал. Один привязывается к собаке, другой – к кошке, третий – к птице. М. содержит двух приемных детей. Эти дети попали из «будущего», кто знает со сколькими лишениями, печалями, слезами в «настоящее» – со спокойной жизнью, любовью, воспитанием, трудом, счастьем.*

*Избавившись от обжигающего как угли слова «сирота», они соединились с милосердием и светлой лаской слов «папа», «мама». Весь этот человеческий подвиг совершил М., с которым многие здороваются из милости, который многим кажется чудаком. Ты не можешь себе представить, с какой гордостью и приводящей в умиление радостью рассказывал он о своих «дет­ках», об их сообразительности. Каждый раз, когда он произносил их имена, в его глазах светилось бесконечное счастье,*

*Да, человек – сложное, большое, богатое, никогда до конца не постижимое существо. Если на то, чтобы понять, почувство­вать, хотя бы частично, это существо и поведать о нем другим, понадобится целая жизнь, разве не самое почетное дело с удовольствием выполнить это?*

*Пришли домой, сказали, что ты звонил. Мой дорогой сынок, брат мой, мой любимый друг, моя надежда, верная, достойная опора, мой товарищ, Анар, детка, ну почему ты так беспокоишься? Разве ты не знаешь, что твоему отцу с первого дня своей жизни пришлось сталкиваться с всевозможными преградами, выходить из испытаний годов, дней? Почему ты сомневаешься в моей силе, стойкости, выносливости? Почему ты волнуешься? Разве на избранном мною пути жизни и искусства мало видел я уколов литературной и нелитературной мошкары, мало слышал ее писка?*

*Какого художника могли сбить с пути камни, кидаемые сословиями завистников, отрядом невежд, бесталанной черной сотни? Разве ты сомневаешься в том, что и я хоть сколько-нибудь принадлежу к роду людей искусства?*

*Мой Анар! Я в последние дни пишу юмористические стихи. Разве это не свидетельство моего отношения к последним событиям? Ты помнишь стихотворение «Наш караван идет»?*

*...Сынок! Если человек способен понимать, никакие ли­шения, трудности, удары не смогут его поколебать. Я счастлив, что способен понимать. Пусть тебе не покажется, что эти слова – из тех, какими человек нахваливает сам себя, слова самодовольства. Если бы я не понимал, почему так поступают сплетничающие литературные п..., не знал, что вызывает их гнев, не понимал, что собирает в один ряд противников сегодняшнего, нового литературного течения, в особенности новых голосов, с каждым днем все громче раздающихся в азербайджанской поэзии, возможно, и расстроился бы, упал бы духом. Поскольку я совершенно ясно вижу, понимаю главную причину всего этого, эти события (если их можно назвать событиями) не вызывают у меня ничего, кроме улыбки, а может и сожаления. Больше чем когда бы то ни было я чувствую в себе силы для новых творческих походов, для новых битв.*

*Что бы ни говорили – не верь. Твой отец – в полном порядке, с пером, не потерявшим еще силы, пытливости, новых красок.*

*Мой Анар! Целую тебя и твою Земфиру.*

*Расул»*

*«Сынок!*

*Если бы ты знал, как тебя не хватает. Каждый раз, как заканчиваю стихотворение, мои глаза ищут тебя; ведь ты же был арбитром в наших литературных спорах, дискуссиях. Если бы природа была такой же чуткой, как человеческое сердце, наверное, море чувствовало бы отсутствие каждой капли. Каждый день наступает утро, в соответствии с временами года планета наша вертится, подставляя бок солнцу, перенося нас через темное пространство ночей, выводит к новым утрам, и мы, уплотняя свою жизнь – самое дорогое, что у нас есть, – приближается к берегу вечной тишины.*

*Возможно, ты слегка усмехнешься этой высокопарной фразе, скажешь, Расул воскрешает традицию сентиментализма. Нет, это своего рода фотография души, отпечатанная посредст­вом словесного проявителя.*

*Пишу новые стихи. Набираюсь сил для грядущих состя­заний и битв. Ты же знаешь, чтобы выиграть состязание, мы должны быть втрое достойнее. В тот день, когда я говорил с тобой, в голосе твоем я почувствовал оттенок печали. Отчего?*

*Последнее время работать не мог. Не мог сосредоточиться. После разговора с тобой на сердце мое как будто снизошел покой, мысли прояснились. Сел и начал писать. Посылаю тебе первое стихотворение из этого цикла.*

*Меня выдвинули кандидатом в депутаты по Белоканскому району. Такова жизнь, сынок, – солнце всходит, небо хмурится, наступает весна, наступает зима. Самое большое достоинство человека в том, чтобы среди всех этих зноев, холодов, света, тьмы он прошел свой путь как Человек. Возможно, литературная мошкара, прочитав эти слова, скривит губы. «Опять абстракт­ный человек», – запищат они. Пускай. Разве не лучше быть абстрактным Человеком, чем конкретным скотом?*

*Пока. Целую.*

Расул Рза. 1963».

*«Сын мой! Анар!*

*Только что пришли из филармонии с концерта турецких композиторов. Жаль, тебя не было. Все мы – твоя мама, сестры, Энвер долго сидели и слушали незнакомую музыку. Слушая симфонию и концерт, написанный для скрипки с оркестром, я думал: как мы мало знаем о мире. Ведь мир в нашем представ­лении очень узок. Что мы видели, кроме нашего дома, двора улицы? Новые времена сломали рамки прежней ограниченности, но все это пока не уложилось, не закрепилось в нашем мозгу. Мне понравилось второе из сыгранных произведений, а Фидан – наоборот, Нигяр, Таране немного понравились оба. Я не считаю себя вправе высказывать категорические суждения о музыке. Но стараюсь понять. Я не могу сказать: «Мне были вполне ясны прослушанные в этот вечер произведения». Но, как просматри­вавшийся сквозь туман силуэт, гор, я почувствовал существование чего-то величественного, некоего явления, чьи краски, линии не похожи на привычный нам мир.*

*Сейчас пойду приму душ. Потом лягу спать. Здесь все здоровы. Целую.*

Расул. 20.111.63».

Газета «Эдебийат ве инджесенет», 30 марта 1963 года.

Из статьи «Ясность цели и мастерство».

«Можно ли оставаться равнодушным к тому, что под покровом «новизны» в нашу культуру проникает враждебная идеология, что ржавеет и тупеет оружие нашей литературы и искусства, являющееся мощным средством коммунистического воспитания? Конечно, нет. Странно то, что когда при разговоре о значительных партийных документах, в корне критикующих формализм, абстракционизм, ставится вопрос: «А как в нашей литературе? Нет ли произведений, напоминающих абстракционизм и различные его проявления?» некоторые товарищи писатели недовольны «такой постановкой вопроса». «Разве обязательно везде искать абстракционизм?» – говорят они, пытаются отвлечь внимание критики от недостатков, ошибок (как на одном и занятий нашего кружка эстетики). Спрашивается:

– Уважаемый товарищ! Если такие недостатки есть, разве преступление их «искать», т.е. указывать? И потом, если такие ошибки допущены, не в далеком прошлом, а в недавнем, если они напечатаны не в очень старых книгах и журналах, а в нашем собственно органе – в журнале «Азербайджан», 12-м номере 1962 года, какая надобность их «искать»? они найдены, вернее, все мы их читали. В указанном выше номере нашего журнала опубликовано 27 произведений народного поэта Расула Рза под заголовком «Краски». Я внимательно прочитал эти отрывки, постарался выискать в них какой-нибудь благой смысл, полезное для нашей жизни, для нашего общества содержание, но, к большому сожалению, найти не смог.

Р.Рза, опубликовав «Краски», попал теперь в положение, из которого трудно выйти. Конечно, автор может сказать, что здесь нет ничего трудного. Что тут такого, я выбирался из более трудных положений, еще несколько лет назад меня крепко критиковали за склонность к формализму, ну и что, что я потерял?

Новаторство мы должны осуществлять не ради «нова­торства», а для того, чтобы своими произведениями оказывать более активную и более значительную помощь великим делам нашего народа. А как автор «Красок», так ли он поступил? Очень жаль, что нет! Возможно, автор искренне признает указанные выше ошибки. А может быть, скажет: «Дайте мне возможность подумать, прояснить для себя самого, в чем состоят те ошибки; посмотреть, действительно ли простокваша белая или черная, сажа черная или белая, песок съедобен или нет»? В течение этого времени критике формализма, абстракционизма посвя­щено много статей. Если бы товарищ Р.Рза не был безразличен к критике «Красок», он признал бы свои заблуждения... Извест­но, что далекие от правды жизни, лишенные художественных свойств «оттенки» этих «красок» не имеют для нас никакого общественно-политического воспитательного значения. На­против, если такие вредные течения, как формализм, абстрак­ционизм, их различные «оттенки», не будут подвергаться должной критике, не будут изгнаны из литературной среды, они вызовут у наших читателей чувство отвращения к поэзии, внесут хаос в мир искусства.

Журнал «Азербайджан», опубликовав этот цикл, оказал очень плохую услугу и автору этих писаний, и читателям».

(Ожидаемого покаяния со стороны Расула Рза не дожда­лись не только местные авторы подобных писаний, но и высокопоставленные партийные бонзы из Москвы. Спустя много лет после опубликования «Без вас» я прочел в газете «Зеркало» (11 марта 2006) очень интересные исторические изыскания профессора Джамиля Гасанлы. Историк обнародовал факты, основываясь на стенограммы и документы той эпохи. В 1959-ом году вопрос о национализме в Азербайджане поднимался на самом высоком уровне, в ЦК КПСС и среди обвинений по этому поводу азербайджанским руководителям той поры И.Мустафаеву, С.Рагимову, и особенно Мирзе Ибрагимову, отмечается и такой «негативный» факт, что Расул Рза выступил на съезде композиторов республики на азербайджанском языке, в то время как было много гостей, в числе которых и Д.Шостакович.

Прибывший в Баку по заданию ЦК КПСС главный редактор газеты «Правда» П.А.Сатюков, выступая в апреле 1959-го на республиканском совещании по идеологическим вопросам, резко критиковал стихи Расула Рза, опубликованные в журнале Азербайджан». (Естественно, ему услужливо перевели эти стихи.).

«Мы должны стихами, произведениями поднимать уровень людей, сознательность людей, а мы не знаем, что хотел сказать Pacyл Рза, что хотел преподнести этой философией – говорил Сатюков. – А почему вы печатаете? Этого делать нельзя. Печать должна быть острым орудием борьбы за коммунизм. Печатать всякую ерунду нельзя. Журнал для этого использовать не нужно».

Далее П.А.Сатюков отметил, что на этом совещании Расул Рза подвергся критике, но молчал. «Мы ожидали, что поэт Расул Рза выступит и скажет, но он спокойно сидел до конца и не вымолвил даже ни слова. Это пренебрежение. Раз по вашему адресу коммунисты выступали, вы обязаны были выступить и сказать, что эта критика действительно правильная; справедливая. Получается, говорите, что хотите, а мне нет дела до вас».

Последняя фраза Сатюкова была верной. Ни до него, ни после никто из критикующих поэта не услышали от него признания упреков в свой адрес справедливыми и слов покаяния.

После падения Н.С.Хрущева, в тот же день были смещены со своих постов зять Никиты Сергеевича, Главный редактор «Известий» А.Аджубей и его коллега и друг Главный редактор «Правды» Сатюков. А газета «Правда», уже при новом редакто­ре, опубликовала восторженную статью критика Ю.Лукина под названием «Краски нашей жизни» о поэзии Расула Рза, в том числе и о раскритикованных бывшим Главным редактором стихах).

6 апреля 1963 г.

Из статьи в газете «Эдебийат ве инджесенет»

«Стихотворение или загадка».

«...Стихотворение «Краски» от начала до конца построено на сравнениях, сопоставлениях. Однако эти сравнения выглядят очень странными, неожиданными и абстрактными. Сколько ни ломай голову, не найдешь связи между «каплей, переполняющей чашу терпения», и серым цветом, соответствия «мычания коровы, у которой зарезали месячного теленка», оранжевому цвету, схожести «зарока подлеца» с лиловым цветом. По какому именно признаку «первый день занятий» должен соответство­вать темно-фиолетовому цвету, «безутешное горе» – каштаново­му, «входящие в дверь бойни несведущие быки» и «человечес­кое деяние» – желтому? Не понимаю, почему «понурый сирота» должен быть фиолетового цвета, а «красавица» и «газели» – именно фисташкового? Не знаешь, отчего «неродной брат младшего» должен быть именно рыжим, а «один глоток воды» может быть сопоставлен только с зеленым цветом. И т.д. и т.п.

Использование в различных отрывках «холодное одино­чество», «безжизненные пальцы», «пустые сердца», «лица, подернутые печалью», «океаны слез», «миллионы надгробий», «сгоревшее сердце», «страх мороза», «ужас разлуки», «горькие слезы», «накидка на гроб ночи», «тень с ледяным дыханием», «пожизненная тюрьма», «тоскливые глаза», «взлохмаченные волосы», «дрожащие губы», «горы, без песен», «слепые родники», «охотничьи угодья без добычи», «очаги без огня» и ряд других выражений принесли в стихи дух безнадежности, печали и холода.

Если бы великий мыслитель Востока Низами Гянджеви сумел взглянуть сквозь даль веков, наверное, обращаясь к некоторым представителям нашей современной поэзии, сказал бы: «Ведь я тоже в свое время с волнением наблюдал меняющиеся каждый миг краски природы, ее свежесть и ароматы, отводил место в своем сердце настоящему человеку, достойному любви. Я тоже писал о красках: черной, желтой, зеленой, красной, синей, сандаловой, белой, но без человека на что эти красоты? Если эти краски не помогают выявлять такие человеческие как печаль, вызванную потерей любви, глубокую способность силой науки раскрывать тайны природы, любовь к жизни, доброту, нравственную чистоту, на что они? Если эти краски не питаются большим жизненным народа, его мудрыми словами, то как они могут жить?» (Как видно, и Низами по индивидуальному стилю и уровню мышления не отличается от автора статьи и находится среди активных противников цикла «Краски». – А.)

«Баку 17.5.63 г.

Сынок, письмо твое получил. Спасибо!

Чтобы разобрать твой почерк, пришлось создать комиссию из авторитетных специалистов. Работа комиссии (члены комиссии Тарана, Фидан, Нигяр и я) увенчалась крупным успехом, можно сказать, 60% письма удалось определить за три часа, из остальных 40% удалось установить примерно 5-6%. Одно утешение ты тоже немало потрудишься, чтобы разобрать мой почерк.

Здесь дела хороши. Дом на месте, люди здоровы, литература заблудилась среди роз, соловьев, мотыльков и лукоподобных бровей. Не знает, как ей быть, поверить в правду века, прислушаться к призыву космической эры или застрять в мире «красивости» – как упавший с ветки листок застревает в кустах. Решение этого вопроса – мука...

...Позвали к телефону.

Письмо начал вчера, сегодня продолжаю. По телефону был Сабит Рахман. Довольно долго болтали. Потом захотелось спать, я лег. Вчера весь день шел дождь. Сегодня солнечный день.

Наша ленкоранская поездка была очень удачной. Я вспомнил тебя. Мы остановились в гостевом доме, где виделись с тобой, когда ты служил в армии. Весь двор был заполнен ароматом роз. Трели соловьев (я не о тех соловьях, что наводняют стихи) не давали ночью спать. Съездили и в одно село (Володя Кафаров и Али Керим[[8]](#footnote-8) тоже поехали со мной). Это село называется Дибол (название села неточное. Правильное название Болиди – А.). По-талышски означает «изобильное село». Есть такой молодой поэт Шакяр Асланов, это его село. Он тоже с нами ездил.

Выращивают чай, сажают рис, содержат скот. В этом году дожди в Азербайджане стали каким-то стихийным бедствием. Говорят, сто лет в это время не видели такого дождя. Во многих местах он сгноил зерна в земле, не дал прорасти. Вынуждены были засеивать снова. А это дополнительный тяжкий труд. Как видно, бог мстит нам за атеизм и борьбу против религии.

Что новенького пишешь? Хочу закончить пьесу, обещан­ную для телевидения. На этих днях отправлюсь на Нефтяные Камни. Посмотрим, что получится. А ты что делаешь? Что написал? Как «Последняя ночь года»? В каком состоянии повесть? Работать удается? Напиши письмо, если деньги нужны, пиши! Все родные и близкие здоровы.

Целую.

Расул. 18.Х. 63».

\* \* \*

В 1956 году мне исполнилось 18 лет.

В этот год произошли многие важные общественно-по­литические события. Мне кажется, что не только у меня, но и всего нашего поколения пора отрочества окончилась именно в этом году.

В 1956 году состоялся XX съезд. Выявилось многое о периоде Сталина и культа личности. В этом году произошли события в Венгрии. В мае этого года А.А.Фадеев покончил с собой. В этом году скончался большой поэт Самед Вургун.

В этом году как бы завершался определенный период в общественной жизни, начинался другой.

В этом году я впервые услышал из уст отца случайно и мельком оброненные слова: сколько мне осталось жить? Один-два года…

После этого он прожил 25 лет – четверть века, и все эти 25 лет и его мысли о смерти, и мои страхи, беспокойства, тревоги, переплетаясь с нашей жизнью, жили вместе с нами.

Все может быть, думал я, я могу умереть раньше отца. Это меня не радовало, я хотел жить много, долго. Я был молод, влюблен в жизнь, но в той мысли меня утешало то, что не увижу смерти отца.

Кто знает, может быть, землетрясение, война, автомобильная или авиационная катастрофа унесет нас всех вместе. Конечно, я не хотел, чтобы произошло несчастье, могущее принести страдания другим людям, но то, что я смогу жить без отца, казалось невозможным.

Наверное, в детском воображении многих людей есть несбыточная мечта: иногда и, повзрослев, с нею полностью не расстаешься – «может быть, однажды найдется средство для бессмертия, и нам оно достанется», и эта греза гнездилась где-то в уголке моего сознания.

Страх, связанный с болезнями отца, как бы не позволял мне беспокоиться о маме. Больше всех на свете, даже больше чем отца, я любил маму, но страха потерять ее не было в моем сердце – может, и вправду в сердце тесно двум страхам, там нет места для двух тревог.

\* \* \*

«Анар, детка, здравствуй!

Здесь все здоровы. Как ты? Насморк прошел?

Ани, детка, твой сценарий («Земля. Море, Огонь. Небо». – А.) я прочел внимательно, тщательно. Прежде чем высказать общее впечатление, хочу довести до твоего сведения несколько моих замечаний.

Во многих местах сценария ты не учитываешь особеннос­тей жанра. Идешь по пути прозы. Правда, кино из всех литературных жанров ближе к прозе, но это не одно и то же. Именно ближе. В описании скал нет компоновки. Здесь и на всем протяжении произведения не забывай, что каждое слово, каждая фраза – это метры пленки, метраж...

Те же слова можно сказать и о проезде Керима-киши в арбе. Ты хотел показать в этом эпизоде серое, бесцветное существование, тягостную апатию, безрадостную жизненную картину. Среди найденных тобою деталей немало хороших. Но вся эта долгая сцена прохода, деревья, их посадка и прочее – излишни, некинематографичны. Эта сцена может начаться много позднее...

...В нынешнем состоянии вопрос посадки стариком дерева получается случайным.

...Встреча Азера и Агджи тоже натянута. Особенно много времени занимает ритуал...

...Песенную форму следует четко сохранить. Это должны быть песни, написанные в четырех тональностях, в четырех оттенках, ритмах, голосах. Здесь должны ясно ощущаться спокойствие, сдержанность земли, то, что она – опора под ногами и пр., то, как глубина, холодность и одиночество небес согреваются дыханием человека, глазами человека; величие Моря, то, что вода – источник жизни; беспощадная красота огня, его сжигающая, очищающая мощь. Все это общо и абстрактно. Но внутренний смысл таков, надо найти, дать ему наглядную замену, форму выражения. В ряде мест это есть. Но много мест не найденных, отвлекающих мысль, не служащих главной идее – цели. Я сделал на страницах много пометок, которые в основном касаются таких моментов.

…Мое общее впечатление от произведения таково, что ты поторопился в конкретном воплощении хорошо придуманной оригинальной вещи. Линия, идущая от начала произведения до его конца – поэтическое философское воплощение четырех песен, во многих местах обрывается. Затуманивается техническими деталями, бытовыми подробностями, И сбивается с пути. В картинах, нарисованных разными красками, виднеются графические штрихи, порой нарисованные кистью окантовочные линии – контуры прочерчены по линейке. Эта идеальная прямая линия не соответствует сущности произведения, отсутствующая в этих линиях шероховатость, кривизна не ощущается как живой кусок, вырванный из произведения.

В диалогах по возможности должно чувствоваться, что эти люди, говорящие по-русски, – не русские. Представители другого народа. В их языке наряду с общими чертами есть и особые штрихи.

Расул. 1964».

\* \* \*

В 1970 году я вторично поехал в Москву учиться, на этот раз в режиссерской мастерской.

Однажды отец позвонил и Баку и сказал, что Нигяр немного приболела, странного ничего нет, но все-таки он хочет привезти ее в Москву. Он говорил таким бодрым голосом, что до самого их приезда я так и не узнал, в чем дело. Даже встретив их – папу, маму, Тарану – и проводив в гостиницу, я не нашел в мамином всегда спокойном лице никаких оснований для тревоги.

Только на следующий день, когда отец дрожащим голосом сказал мне по телефону: «Эпикриз у Нигяр плохой, я совсем голову потерял», – я осознал, насколько серьезна опасность, грозящая маме. Впервые я услыхал от папы слова: «Я совсем голову потерял».

В Баку врачи нашли у мамы опухоль. Посоветовали повезти ее в Москву, в Онкологический центр на Каширском шоссе, чтобы прооперировать.

Мы отвезли маму в больницу, в приемном покое ей выда­ли халат. Улучив минуту, она отвела меня в сторону.

– У тебя сердце покрепче, – сказала она, – побереги Расула, Тарану, не давай им сникнуть.

Потом поцеловалась с нами со всеми и, улыбаясь, ушла.

Служительница, возвращая нам ее одежду, сказала:

– Ну, прощайтесь, вы ее больше не увидите.

Нас как будто облили кипятком.

Конечно, она имела в виду другое, что до операции и несколько дней после операции (если она пройдет успешно) с больной видеться нельзя. Но сказала она так грубо, резко, что мы долгое время не могли прийти в себя.

Вышли в раннюю вечернюю темень морозной, вьюжной московской зимы.

Потом мама написала цикл стихов об этих днях под названием «Каширское шоссе». Но эти стихи были не о Каширс­ком шоссе, а о здании на этой улице, о людях внутри него, о больных, ожидающих исцеления, и о врачах, возвращающих им жизнь. О Каширском шоссе могли написать мы – папа, Тарана, я – это мы мотались по нему.

Тягостная грусть декабрьских вечеров, когда темнеет в четыре-пять часов, тускло освещенные окна большого здания, виднеющегося сквозь парящие в воздухе снежинки.

За одним из этих печальных, унылых окон лежит моя мама и с жуткими прогнозами, страшными предположениями ждет дня операции.

Эта хирургическая операция может снова вернуть ее к жизни. Или же...

...Во сне я прощалась с миром,

Мир был прекрасен, расставание тяжко.

– Новикова хочет поговорить с тобой, – сказал отец, – позвони ей. Мне она правду не говорит, может, тебе скажет.

Профессор Людмила Алексеевна Новикова – хирург, который должен был оперировать маму.

– Ваш отец – тоже больной человек, – начала Новикова, – ему нельзя говорить правду, но вы должны знать: у вашей мамы слабое сердце, может и не выдержать операции. Даже если операция пройдет успешно, только после гистологического анализа можно сказать категорически – опухоль была злокачественной или доброкачественной.

Как, в каком виде я мог сказать все это отцу, Таране, Фидан, оставшейся в Баку и каждый день, каждый час ждущей от нас известий?

Несколько лет этот день – 4 января – по папиной инициативе мы отмечали как день нового рождения мамы.

За несколько лет до этого врачи тоже заподозрили у мамы наличие признаков этой роковой болезни.

Мама говорила:

– Рак дважды накидывался на меня, оба раза безуспешно, сохрани Аллах от третьего.

С третьей атаки рак унес ее, но сама мама об этом не догадалась, не узнала, что ее недуг – та самая безжалостная неизлечимая болезнь, на которой она подтрунивала.

*«Анар, детка. Здравствуй!*

*Твое разноцветное письмо прочитал с трудом, примерно как ты читаешь мои письма.*

*Деяния Турал-хана находятся пока в первоначальной стадии (моему сыну Туралу был тогда один годик. – А.), вот когда он начнет разговаривать, тогда отомстит тебе за все «что» и «почему», которыми ты изводил Нигяр и меня.*

*Здесь три дня была страшная жара – 38-40°. А потом начался дождь, холод...*

Расул.

24. VII. 65».

Однажды отец рассказал мне легенду. Он хотел записать эту легенду. Не знаю, сам ли он выдумал сюжет или услышал от кого-то. А может, прочитал где-то. Вообще у папы была манера: преподносить как народное творчество предания, легенды, придуманные им самим. Помню, когда он писал очерк о Сумгаите для журнала «Огонек», то сочинил легенду, якобы связанную с названием этого города. В легенде рассказывалось о любви юноши по имени Сум. Ему кричали: Сум, гаит (вернись), и отсюда будто пошло название этого места. Когда он читал нам очерк, мы спорили, в какой степени характерно имя Сум для Азербайджана. Возлюбленную парня он назвал Джейран и связал с этой легендой озеро Джейранбатан («джейранья топь»). Но самое удивительное, что сотворенную на моих глазах эту «народную легенду» наши ученые впоследствии внесли в книги фольклора как подлинное «народное предание». И нашелся даже исследователь, отметивший, что записал это предание в таком-то селе, со слов такого-то старца. Так вот...

Одну из рассказанных отцом притч приводил писатель Рустам Ибрагимбеков в беседе с корреспондентом газеты «Социалистическая индустрия».

«Я вспоминаю... ситуацию с моей повестью «На девятой Хребтовой» и фильмом бакинской студии «В одном южном городе», снятым по этой повести. Тогда нас осуждали за то, что мы рассказали о неприглядных сторонах жизни. Вокруг фильма шли дебаты на предприятиях, в институтах, в учреждениях. И вот однажды на одной из таких дискуссий замечательный поэт Расул Рза рассказал сказку о том, как в лапу Льва попала заноза. Лапа, естественно, стала болеть, гноиться. Но все звери, которых призывал на помощь Лев, лишь зализывали, заглаживали больное место, боясь выдернуть занозу – ведь острая боль вызвала бы гнев царя зверей. И, наконец, пришел маленький зверек, который выдернул злополучную занозу. Лев от боли чуть не убил своего спасителя, и лишь когда рана затихла, он понял, что эта маленькая боль была необходима для его спасения.

В этой притче – глубокий смысл. Люди порой недальновидно оценивают обличающее произведение искусства, обвиняя в недостатке патриотизма. Но наводить глянец – дело чистильщика обуви, у литературы другие задачи».

А легенда, которую рассказал мне отец, была такая. Однажды визирь приходит к падишаху и говорит: о великий правитель, вскоре пойдет такой дождь, что все, напившись его, сойдут с ума. Падишах спрашивает визиря: как же нам быть? Я принял необходимые меры, отвечает визирь, набрал для нас с вами запас обычной воды.

И вот однажды начинается ливень. Все, кроме падишаха с визирем, пьют эту дождевую воду. Пьют и сходят с ума, смотрят на падишаха с визирем, смеются, ой, ой, ой, вы посмотрите, они с ума сошли!

Глядя на падишаха, говорят: посмотрите-ка на него, он в штанах… Глядя на визиря? Ты смотри, у этого два глаза, один нос и т.д. – издеваются на единственными двумя людьми, не потерявшими разума. Сначала иронизируют, потом свирепеют, мол, почему падишах с визирем на нас не похожи. Они обязательно должны быть похожи на нас, если не захотят быть похожими, не станут точно такими же, как мы, пусть пеняют на себя.

Перепуганный падишах обращается к визирю: придумай что-нибудь. Да будет здоров шах, отвечает визирь. Я предвидел заранее и такой день и поэтому все хорошо придумал. Оставил и для нас запас той дождевой воды. Выпьем, станем как все.

И вот падишах с визирем выпивают эту воду и становятся такими, как все остальные, то есть по существу безумными, а в глазах сумасшедших обычными, своими…

\* \* \*

В сентябре 1973-о года мы вместе с отцом отправились в Москву на юбилей Насими.

Этот год выдался тяжелым для всей нашей семьи – три очень дорогих нам человека – двоюродный брат отца Ниязи Мамедханлы, свекор Фидан Сулейман Везиров и самый близкий из здравствующих друг отца Джафар Джафаров были тяжело и безнадежно больны.

Младший брат Энвера Ниязи повидал много горя на своем коротком веку. С первых дней войны, будучи 26-летним моло­дым человеком он отправился на фронт, героически сражался в Севастополе, был взят в плен и прошел ад фашистских лагерей. Однажды он сказал мне: «Я пережил все стадии голода, но самая тяжелая, это когда приходится довольствоваться малюсенькой крошкой черствого хлеба, а потом вновь голодать. Лучше уж вообще ничего не кушать». В годы войны семья получила похоронку на Ниязи и держала траур, но после победы он вернулся живым и невредимым, успел пожить несколько месяцев вместе с семьей, а потом был сослан в Сибирь. После окончания сталинской эпохи Ниязи вернулся в Баку и начал работать по своей специальности – инженером-нефтяником. Он был холостым, так до конца жизни и не женился... Срок был отпущен ему недолгий. Диагноз был окончательным и безжалостным.

Примерно в то же время беспощадная болезнь настигла и Сулеймана Везирова, и Джафара Джафарова.

\* \* \*

Джафар Джафаров работал секретарем Центрального Комитета. В 1971-ом году он был освобожден от занимаемой должности. После того, как его сняли, я часто проведывал Джафар-муаллима у него дома, и мы подолгу беседовали. Однажды он сказал: «Знаешь, я многое повидал на своем веку, но никогда еще у меня не опускались руки. Наверное, это связано с возрастом. Сначала после подобных стрессов я быстро восстанавливался, у меня появлялось еще больше рвения и желания работать, я знал, что пройдет какое-то время, и я снова стану на активную общественную позицию. Но в этот раз у меня нет никакой надежды...»

Когда Д.Джафаров передавал свои полномочия новоназначенному секретарю Д.П.Гулиеву, тот сказал: «Джафар-муаллим, Вы столько меня расхваливали, что, в конце концов, меня назначили на Ваше место».

После того, как Данила Пириевича Гулиева назначили на должность секретаря по идеологии, многое изменилось: начались нападки на Энциклопедию, «Гобустан»[[9]](#footnote-9) на меня самого. Это отражалось на страницах всевозможных газет и журналов – от «Коммунист»а, до юмористического «Кирпи». Я уже не говорю про бесчисленные выступления на различных собраниях и другие образцы «устного творчества».

К примеру, один эпизод. Мы в кабинете у товарища Д.П.Гулиева. Он вызвал меня, двух видных ученых-философов, разложил перед нами новые номера журнала «Гобустан» и интересуется авторитетным мнением философов. Один из ученых хватается за голову.

– Какой ужас, Данил Пириевич, вы только взгляните, что они тут понаписали. Оказывается, в Шуше нужно установить памятник Панах-хану

Д.Гулиев:

– Что вы говорите? Товарищ Анар, как же вы допустили такое?

Я пытаюсь объяснить:

– В Москве есть памятник основателю этого города князю Юрию Долгорукому, в Ленинграде – основателю Ленинграда царю Петру, в Тбилиси, соответственно – Вахтангу Горгасили. Что ж крамольного в предложении, чтобы в Шуше был воздвигнут памятник ее основателю – Панах-хану?

Второй ученый восклицает:

– Вы только посмотрите, кто это предлагает. Эльтуран!

– А кто такой Эльтуран?

– Не знаю, но этого человека зовут Эльтуран! Вы знаете, что означает имя Эльтуран? То есть Туранский край – несбыточная мечта пантюркистов...

Д.Гулиев укоризненно качает головой и смотрит на меня.

Я отвечаю:

– Но как же мне сказать человеку, чтобы он поменял собст­венное имя?

Через десять лет, в 1982-м году во время открытия мавзолея Вагифа в Шуше среди присутствующих был и я. Гостей знакомили с культурными памятниками города. На древних стенах города был изображен портрет Панах-хана. Предложение, высказанное в журнале «Гобустан», было воплощено в жизнь спустя десять лет, правда, в несколько ином жанре изобразитель­ного искусства – в жанре рисунка, и, к сожалению, сделано это было довольно примитивно и безвкусно. Кстати, о достопримечательностях гостям рассказывал тот самый архитектор Эльтуран Авалов, который так и не поменял своего имени. Д.П. Гулиев же к тому времени давно уже не работал секретарем...

А в те годы в кабинете у секретаря внимательно выслуши­вались и на полном серьезе принимались мнения ученых-философов. Начиная со слова «топлу» (альманах) на обложке «Гобустан»а, и кончая количеством знаков в терминах, данных в энциклопедии на каждом шагу, в каждой строчке им мерещился «пантюркизм». Еще одним «доказательством» приверженности нашей семьи к «пантюркизму» стали путевые заметки о Турции моей мамы, изданные примерно в то же самое время. Клейми­лась не только приверженность ко всему тюркскому, но и другие наши «повинности».

В доме актера проводился съезд журналистов. Я опоздал и сам не слышал то, о чем там говорилось. Но не успел я прийти, как мне сообщили, что Д. Гулиев во время своего выступления хорошенько прошелся по мне. Дело в том, что за несколько дней до этого в «Литературной газете» вышла моя статья. Там я высказал кое-какие суждения по поводу нашей критики. Д.Гулиев во время выступления пересказал присутствующим смысл этой статьи и, обращаясь к приехавшему гостю из Москвы В.Пескову, сказал: «Вообще, Анара очень часто публикуют в центральной прессе. Прошу вас, передайте, чтобы в дальнейшем печатали поменьше».

На следующее утро, предварительно позвонив, я отправился на прием к Д.Гулиеву.

– Что такого неприемлемого в моей статье, за что вы клеймили ее с трибуны съезда? – спросил я.

Д.Гулиев ответил:

– Честно говоря, я не читал твоей статьи. Просто мне ее так негативно преподнесли. Сегодня я, наконец, ее прочел. Вроде бы там ничего такого нет...

Несмотря на это, три номера к ряду в «Литературной газете» выходили публикации, в которых опровергались мои ошибочные мысли. Это было невиданным явлением. Одна из ответных статей по специальному распоряжению была написана Акпером Агаевым. Насколько мне известно, эта статья А.Агаева является единственной публикацией на страницах «Литературной газеты».

\* \* \*

6-го марта 1972-го года в клубе «Натаван» проходило совещание, посвященное вопросам критики. Выступающий критиковал стихи отца, частично излив душу переходил на мои произведения, не оставив камня на камне, вновь возвращался к недостаткам в творчестве оцта.

На сердце у меня было неспокойно, я никак не мог найти себе места. Но вовсе не по поводу красноречия выступающего с трибуны, а совершенно по иному случаю!

И вот, наконец, меня зовут к телефону в фойе. Звонят из дома и радостным голосом сообщают: «Поздравляем, у тебя родилась дочка». Я возвращаюсь в салон и шепчу на ухо отцу: «Поздравляю, у тебя родилась еще одна внучка». Мы, обнимаясь, целуемся. Сидящие в салоне люди с удивлением смотрят на нас. Выступающий так же на секунду умолкает, сглатывает слюну, видимо задумывается, интересно, что такого произошло за то, короткое время, что он поносил нас, может, я нашел какой-то выход из положения и принес радостную весть. И что это за весть такая, что в самый разгар разгромного собрания заставляет отца с сыном так вот радоваться.

Узнавший о новости Байрам Байрамов говорит:

– Вот и ваш ответ на выступление. Ответ жизни на скопище мертвых мыслей и слов.

Вечером уже дома мама пошутила:

– Нужно назвать новорожденную Тэнгидэ (Критика). Уж в больно разгромный день она родилась.

Но мы назвали девочку не Тэнгидэ, а Гюнель.

\* \* \*

Помню одно собрание. Посвящено оно идеологическим вопросам. На нем присутствуют партийные работники, пресса, представители творческих организаций, министерств, ученые и писатели. Выступает Д. Гулиев. Он, сообщая о совещании, проведенном в ЦК КПСС, говорит: «В ЦК КПСС строго критиковались националистические проявления. В нашей же идеологической деятельности приветствовался интернациона­лизм. Выступление секретаря по идеологии Грузии не произвело положительного впечатления. Он старался оправдать свои действия, пытаясь создать впечатление, что в Грузии нет проявлений национализма. Я же начал с самокритики и сказал, что хотя мы и заслужили высокой оценки за проводимую нами работу в области интернационализма, но это вовсе не означает, что мы не видим собственных недостатков. У нас тоже есть подобные проявления, например в работе журнала «Гобустан». Товарищи спросили: «Так неужели вы не можете обуздать редактора «Гобустан»а?»

С собрания я сразу же направился в кабинет Д.Гулиева.

– Вам велено меня обуздать? Я уже несколько месяцев как написал заявление об уходе. Когда вы его рассмотрите?

– Ты, что действительно хочешь уйти?

– Действительнее не бывает.

– Почему?

– ??!

\* \* \*

Однажды утром меня разбудил телефонный звонок. Вызывали к Д.Гулиеву. Я должен был найти художника Тогрула Садыгзаде и привести его с собой. На обложке одного из номеров «Гобустана» мы напечатали его табло. На табло были изображены Нариманов, Киров, Орджоникидзе и Микоян. Именно по этому поводу нас и вызывали.

В лифте ЦК Тогрул Садыгзаде поинтересовался:

– А к кому нас вызывают?

– К секретарю по идеологии Данилу Гулиеву.

– А разве секретарь не Джафаров?

Меня разобрал смех; Джафаров давно уже снят с этой должности. Что ж, художники часто бывают не от мира сего…

Но что же послужило причиной всей этой заварухи? Оказывается, кому-то почудилось, что Нариманов находится на переднем плане относительно Кирова, Орджоникидзе и Микояна, а это является грубейшей политической ошибкой. Я пытаюсь объяснить:

– Но он же не на переднем плане стоит. У него просто одно плечо немного выдвинуто вперед.

– Это грубая политическая ошибка.

Я чуть ли не оправдываюсь:

– На картине изображена улица Ичэри Шэхера. Нариманов местный житель, без сомнения, он должен быть немного впереди остальных и показывать им дорогу.

Абсурдность моей логики порождена абсурдностью ситуации.

– Это грубая политическая ошибка.

Пытается вставить слово Тогрул Садыгзаде:

– Я нарисовал это табло на основе фотографий. Видите, здесь Нариманов тоже стоит чуть впереди.

– Грубая политическая ошибка.

– Эта картина была выставлена на выставках в Баку и Москве. До «Гобустан»а она была напечатана в газете «Коммунист» с намного бо́льшим тиражом. Ответ все тот же. Тогрул Садыгзаде говорит:

– Это похоже на одну историю, где художнику ставят в укор, что на своей картине он изобразил цыплят грустными.

Я давлюсь от смеха. Д.Гулиев даже не улыбается. Показывая «Гобустан» он говорит:

– Вы знаете, чтобы сделали с вами (т.е. со мной – редакто­ром и Садыгзаде – художником) в 37-м году? Поймали бы и засадили.

Мне нравится, как отвечает Тогрул. Он говорит:

– Не беспокойтесь. Среди наших были и такие. (Отец Тогрула Садыгзаде Сеид Гусейн и мать поэтесса Уммульгюльсум были жертвами эпохи культа личности).

– Одним словом, нужно поменять обложку.

– Я не могу этого сделать. Тираж уже вышел.

– Я вам приказываю.

– Тогда делайте это письменно. Я не могу этого сделать на основании устного распоряжения. Как мне объяснить работникам типографии, наборщикам, почему из журнала убираются портреты видных революционеров?

Конечно же, никакого письменного распоряжения не последовало. «Гобустан» вышел с той же обложкой, и никому даже в голову не пришло, что чуть выдвинутое вперед плечо Нариманова является грубой политической ошибкой.

Все эти разговоры и диалоги я привожу здесь абсолютно досконально, ни прибавляя и не убавляя ни слова от себя, но это вовсе не означает, что мной движет желание изобразить Д.Гулиева лишь только с отрицательной стороны и якобы, таким образом, я свожу с ним запоздалые счеты. Я и сам прекрасно знаю, что это, по крайней мере, бессмысленно и совсем не собираюсь ругать кого-то за глаза. Все, что я хотел сказать, с чем был не согласен и против чего протестовал в то время, я высказывал самому Д.Гулиеву, тогда, когда он еще был на должности.

И, вообще, место ли в этом грустном повествовании подобным воспоминаниям? Не знаю. Ведь сами эти события кажутся мне теперь смешными, а тогда они вызывали бурю отрицательных эмоций, портили настроение, расшатывали нервы. Сам я не особенно переживал по их поводу. Ведь я был молод, здоров, на мир смотрел с надеждой. И еще меня успокаивало, что мои трудности весьма незначительны в сравнении с теми мучениями, которые выпали на долю многих и многих писателей и редакторов, как в прошлом, так и в настоящем времени.

Меня, не смотря на мое заявление, так и не сняли с редакторства, «Гобустан» не закрыли (хотя подобные слухи муссировались) и даже слово «топлу» на обложке было нами сохранено.

В свое время работавший секретарем и ставший инициатором самого журнала «Гобустан» и моего назначения его редактором Джафар Джафаров перед смертью сказал мне:

– Во всяком случае «Гобустан» выдержал все испытания и выжил.

\* \* \*

С энциклопедией все оказалось гораздо сложнее и драматичнее.

Конечно, смешно сравнивать себя с отцом; но хочу отметить то, что если создание «Гобустан»а и все мои попытки и старания, нацеленные на то, чтобы журнал получился нужным и интересным вместо того, чтобы вызывать поощрения, натыкались на сплошные проблемы, то что там говорить об отце. Ведь взвалить на себя такую тяжкую ношу, как энциклопедия, да еще в больном состоянии, да в таком преклонном возрасте, являлось настоящим самопожертвованием. Тем более, что в истории Азербайджана доселе не было ни опыта создания энциклопедии, ни традиций этого дела, ни навыка, ни кадров. Не было ни точной терминологии, ни конкретных терминов в той или иной области, ни точно утвержденных географических названий. Да что там, не было даже большого толкового словаря азербайд­жанского языка (т.е. его и сейчас нет в полном объеме – из 4-х томов изданы только два).

Зато было много спорных вопросов связанных и с географическими картами, и с историческими проблемами. По поводу многих вопросов – от возникновения народа, его становления, развития, создания его языка, вплоть до его названия каждый выдвигал свою, отличную от других гипотезу. Зачастую наши соседи присваивали себе нашу историю, географию, культуру, даже некоторые бытовые события, личности, места, термины, иногда же протестовали против них.

Все эти сложные вопросы, придерживаясь партийной, патриотической и интернациональной позиции нужно было окончательно и авторитетно решить именно на страницах томов энциклопедии. Решить главным редактором достойно азербайд­жанца, коммуниста, интеллигента и Народного поэта...

В то же время, все это должно было решаться в специфи­ческих условиях азербайджанской общественной жизни. Среди представителей нашей интеллигенции было немало людей типа упомянутых мною выше ученых-философов. Хотя, при чем тут философы? Разве мало подобных им среди историков, языкове­дов, полупоэтов? Тем более, что ветры недовольства дули со всех сторон – и с правой, и с левой, и сверху, и снизу. Среди них были и хазри и гилавар[[10]](#footnote-10)...

Часть историков, которые должны были дать вердикт об издании или не издании уже подготовленного, набранного и переплетенного первого тома энциклопедии написали в своих отзывах, что категорически против его издания. Один и очень показательный из этих отзывов сейчас находится передо мной. Высказавший претензии по разным вопросам Играр Алиев протестовал по поводу статьи под названием «Азербайджанцы»: «В статье «Азербайджанцы» допущено очень много нелепостей. Автор во что бы то ни стало хочет доказать, что тюркоязычные племена находятся на Кавказских территориях с очень давних времен. Хочу отметить, что так называемое «тюркопоклонство» среди некоторых наших дилетантствующих интеллигентов стало настоящей головой болью. Тюрков ищут везде… Скифов и тех объявляют тюрками. Среди Кавказских албанцев тоже хотят видеть тюрков и т.д. и т.п.».

Тут же, во имя справедливости хочу отметить, что среди тех, кто выступил в защиту Расула Рзы, когда армянский писатель Серо Ханзандян написал полное лжи и клеветы письмо о его стихотворении «Бабек», самой личности национального героя (письмо было направлено в ЦК КП Азербайджана и ЦК КПСС с протестом против того, чтобы Расул Рза был удостоен звания Героя Социалистического труда) был и Играр Алиев. Естественно, что ответ Играра Алиева был связан не с отцом, а с местом и ролью Бабека в нашей национальной истории. С Ханзадян возмущался по поводу того, что про преступника, бандита, кровопийцу и людоеда Бабека в Азербайджане снят фильм и его именем назван район. Опираясь на исторические источники и давая оценку личности Бабека, И.Алиев в ответ писал: «Сказанное Расулом Рзой о Сахле ибн Сумбате С.Ханзадян называет хунвейбинским высказываниями. Это настоящее интриганство. В стихотворении «Бабек» Расул Рза совершенно справедливо называет Сахла изменником и считает его предателем. Так что обида С.Ханзадяна за «своего князя» совершенно необоснованна. Если Расул Рза изобличает предателя Сахл ибн Сумбата, какое это может иметь отношение к армянскому народу? Нужно начисто потерять совесть, чтобы адресовать слова Расула Рзы, сказанные о Сахл ибн Сумбате всему армянскому народу. Поэтому мы категорически отрицаем обвинения Ханзадяна, в которых говорится, что «Расул Рза своим стихотворением «Бабек» оскверняет дух ленинской политики, нарушает Конституцию СССР, оскорбляет историю армянского народа и самих армян»...

Мы полностью отрицаем умозаключения Ханзадяна о том, что Расул Рза якобы искажает историю. Это не Расул Рза искажает историю, это Ханзадян клевещет на историю азербайджанского народа. Исходя из всего вышесказанного, мы вместе с Расулом Рзой называем Бабека героем и присоединяемся к словам поэта говорящего: «Есть люди, что деяниями своими возвысились...» (письмо И. Алиева, написанное на русском языке, хранится в моем архиве – А.)

На полное клеветы и оскорблений письмо Серо Ханзадяна написал хлесткий ответ и автор сценария фильма «Бабек» Энвер Мамедханлы: «Попытка осквернить и очернить героя Бабека есть ни что иное, как очередная кляуза безответственного националиста» (сентябрь, 1980).

Не знаю, как насчет «тюркопоклонства», но закидывание камнями энциклопедии – размеры камней зависели от силы и власти кидающих – превратилось в настоящее хобби среди некоторых историков, философов, языковедов, писателей и поэтов. Зарубить дело выхода энциклопедии в свет на корню, во что бы то ни стало помешать ее изданию, было целью не только именитых деятелей, но и некоторых рецензентов-любителей, присоединившихся к пакостничеству по собственной инициати­ве. К большому сожалению, у меня нет этих очень показатель­ных документов. А ведь из всех этих отзывов, писем, доносов можно было создать еще один довольно внушительный том энциклопедии. Кто знает, может быть когда-нибудь будет состав­лена и такая книга. И как было бы занятно почитать увековечив­шую имена целого ряда представителей интеллигенции такую вот книгу...

Самые горячие споры разгорелись по поводу термина «азери». Некоторые рецензенты выступали против использова­ния терминов «народ азери», «язык азери», «азери» и т.д. В своем письме, направленном в ЦК (ведь претензии тоже писались в ЦК) в ответ на эти недовольства Расул Рза писал: «Использование понятия «Азери» относится ко времени задолго до издания энциклопедии (даже к прошлому веку). (Мое мнение о том, что термин «азери» наиболее близок как с научной, так и с практической точки зрения к понятию «азербайджанцы» было высказано в справке, которую мы представили в ЦК еще до того, как был напечатан макет). В нашей республике в языковедческой литературе в связи с названием народа и его языка используется термин «азери». Кроме литературы этот термин широко используется так же и в прессе, на радио и телевидении. В названии страны, в которой живет наш народ – в слове «Азербайджан», так же есть частичка «азер». Это слово в различных формах, таких, как «атар», «атер» с давних пор и по сей день используется вкупе с названием нашей страны. Не удивительно, что мы не нашли ни одной отрицающей этот термин ни то что монографии, но даже основательной научной статьи какого-либо ученого-языковеда.

Несмотря на это Главная редакция энциклопедии организовала двухдневное совещание видных историков и языковедов республики по поводу термина «азери». (Принимая во внимание недовольство Э.Алибейзаде по поводу понятия «азери» на обсуждение мы пригласили так же и его). Участники совещания (даже покойный профессор М.Шарифли, который выступал категорически против этого термина ранее) признали термин «азери» научным. Э.Алибейзаде свою позицию отстаивал один. Но отложим все это в сторону. Возможно, Э.Алибейзаде просто не хочет отступать от своей позиции. Это не удивительно. Удивительно то, что пытаясь доказать персидское происхождение термина «азери» он ссылается на пропагандиста, проповедующего политику главенствующего персидского национализма и обосновывающего эту позицию с исторической точки зрения историка Ахмеда Касреви. Разве Касреви может объяснять термин «азери» как-нибудь иначе? Так почему мы должны идти путем Касреви и принимать его пресловутую точку зрения о том, что Азербайджан с давних времен является стра­ной ираноязычных народов и здесь жили и живут ираноязычные азери? (Оригинал письма в архиве у Р.Рзы).

Настойчивость отца по поводу принятия термина «азери» исходила из желания утвердить это название не как название местности, а как название народа. Потому что «азербайджан­цем» может быть и русский, и лезгин, живущий в Азербайджа­не... Точно так же, как грузинские армяне, узбекские таджики, таджикские узбеки, туркменские казахи, казахские киргизы, киргизские татары, татарские башкырды, башкыртские чуваши и т.п.

Только армяне – лишь армяне, грузины – только грузины, русские – только русские, узбеки – только узбеки. Точно так же, как туркмены, казахи, киргизы, таджики, татары, башкырты, чуваши и т.д. Азери так же могли быть только азери. Могли быть, но не стали. Не пустили.

Помню, как в те дни, когда слово «азери» было заклеймлено, из Москвы к нам пришел том Большой Советской Энциклопедии. По инициативе и благодаря стараниям отца название нашего народа здесь писалось как «азербайджанцы, азери». Помню, как он лежал в больнице в Мардакянах. Я повез тот самый том в больницу. О боже, отец радовался, словно малое дитя! Как будто ему подарили весь мир. От радости он даже позабыл о своих болезнях.

Энциклопедию же расшатывали буквально со всех сторон. Здание, построенное с таким трудом, (кстати сказать, строитель­ство здания и установка перед ним памятника Г.Зардаби тоже заслуга отца. Но в здании, построенном отцом, самому ему поработать не довелось) разбирали по камням, по кирпичикам. Удары, нанесенные по энциклопедии, были ударами, нанесенными по сердцу, здоровью, жизни отца...

\* \* \*

Уже после смерти отца разбирая его бумаги, я внимательно просмотрел папки, относящиеся ко времени его работы в энциклопедии. Он по пунктам, логично и взвешенно отвечал на десятки страниц различных претензий, научных умозаключений и псевдонаучных доносов.

Иногда на бюрократические нападки он отвечал на бюрократическом же языке, но в какой-то момент, то ли от того, что не хватало терпения, то ли потому что поэтическая натура брала верх над характером руководителя, он принимался писать сатирические стихи, видимо освобождая душу таким вот образом:

*Жило-было дряхло тело –*

*Ростом мало, носом длинно,*

*Тело знало, что кричало*

*Растоптать!*

*Уволить!*

*Сбить!*

*Имя странное у тела*

*Знали дело*

*Те, кто имя выбирал*

*Звали тело*

*Мирза Червь!*

*Да, вот так.*

*Дело тела то и дело*

*Клеветать, да врать и лгать.*

*Рыться в грязненьком белье*

*И писать доносы, сплетни*

*От зари и до заката.*

*А куда писало тело*

*Знают ройщики могил.*

(перевод Гюнель Анаргызы)

В архиве отца, в папках, относящихся ко времени его работы в энциклопедии, есть документы, которые я читал с болью в сердце. Уважаемый и почитаемый в республике человек Расул Рза вместе с главным бухгалтером учреждения вынужден был отвечать на доносы какого-то «ройщика могил». В отчете есть такой пункт: «В связи с обвинением высказанном в доносе: без сомнения, автомашина «Волга» № 54-95 отвозила главного редактора АСЭ Расула Рзу в Гейчайский район, так как он является депутатом Верховного Совета Азербайджана и должен был встретиться со своими избирателями». Народный поэт, депутат, главный редактор энциклопедии должен был писать объяснительную о том, что на своей служебной машине по субботам в летние месяцы ездил на дачу в Бузовны.

Те, кто был далек от национал-патриотического духа энциклопедии, кого не устраивало то, что история нашего народа отражается в ней правдиво, старались во что бы то ни стало, порой «научно» обосновывая свои доводы, а порой путем откровенного шантажа опорочить «необузданного» главного редактора, образумить его, приструнить или же просто довести до белого коленья. Даже его доброжелатели не раз интересова­лись: «А почему Расул не напишет заявления об уходе по собственному желанию? Что он будет делать в одиночку против всех этих нападок и давления?» И какими только грязными путями и способами не старались его убрать! В конце концов, дело дошло до Центральной Комиссии Партийного Контроля при ЦК КПСС. Оттуда была послана специальная комиссия с заданием опорочить главного редактора Азербайджанской Энциклопедии. Местные «гостеприимные» хозяева не могли упустить возможности «услужить» московским гостям. На отчет некоего чиновника по фамилии Соколов отец отправил ответ члену бюро ЦК КПСС, председателю Центральной Комиссии Пельше:

«Уважаемый товарищ А.Е.Пельше!

В отчете товарища Соколова наряду с некоторыми фактами есть и крайне субъективные и объясняющие эти факты весьма односторонне безосновательные доводы... В связи с тем, что данное мне для ознакомления с отчетом Соколова время было очень ограниченно, я могу опровергнуть только некоторые запомнившиеся мне пункты.

Чтобы считать реально возможной подготовку макета энциклопедии за 4 месяца, а выпуск самого тома за полгода нужно либо потерять всякое чувство объективности, либо просто не разбираться в специфических особенностях работы, связанных с печатью такого сложного издания, как энциклопе­дия. Тем более, что в 1966-м году, после того, как было принято решение об издании энциклопедии, спустя 5 месяцев у редакции не было даже одной комнаты, а штат состоял из одного главного редактора. В то же время, считаю не соответствующим действи­тельности заключение Соколова о том, что работа коллектива энциклопедии пущена на самотек. Известно, что коллектив АСЭ выполнил огромную работу: подготовил 1, 2, 3, частично 4 и 5-й тома энциклопедии, а также специальный том на азербайджанс­ком и русском языках. Издан словник, состоящий из 60 тыс. слов и терминов. Нужно принимать во внимание и то, что в респуб­лике не было опыта издания энциклопедии и что терминология и топонимика находятся в бедственном состоянии. Главная редакция командировала в города и села республики десятки своих сотрудников и собранный ими материал впервые был записан именно нами. АСЭ подготовила и выпустила десятки исторических и географических карт. Если все это, как выра­зился тов. Соколов называется «самотеком», тогда, что же такое напряженная, полезная и организованная работа?

Удивительно то, что тов. Соколов во что бы то ни стало хочет опорочить меня. Видимо, заключение о том, что Расул Рза приходит на работу поздно, а уходит рано основано на доносах Р.Гусейнова. На самом деле, во-первых, тов. Соколов должен знать, что работа главного редактора не нормирована. Во-вторых, он так же хорошо должен знать, что кроме того, что я являюсь главным редактором АСЭ, у меня есть довольно много других общественных должностей: Председатель Комитета Солидарности Республики стран Азии и Африки, Председатель Республиканского общественного совета АПН, заместитель председателя Комитета по защите Мира, член правления Союза Писателей, председатель клубов поэзии в Сумгаите и Гейчае, член Комитета по Терминологии, председатель Комитета дней поэзии Сабира, член редколлегии Большой Советской Энцикло­педии, член ревизионной комиссии ЦК КП Азербайджана и т.д. Понятно, что для всех этих общественных дел я должен выбирать время из 24 часов суток, даже если это будет происхо­дить за счет моего сна и отдыха. Но не смотря на все это, я цели­ком и полностью выполняю работу главного редактора энциклопедии.

Тов. Соколов пишет, что в 1970-75-м годах я издал 18 своих книг. На эту претензию первым естественным ответом было бы: «ну, и что с того?» Но в действительности, в течение этих лет у меня вышло не 18, а 9 книг (привожу справку). Кажется, в глазах Соколова цифры начинают двоиться. Неужели тов.Соколов полагает, что мои коллеги-поэты М.Бажан, П.Бровка, И.Абашид­зе – главные редакторы украинской, белорусской и грузинской энциклопедий не пишут стихов и не печатают книг с момента их назначений на эту должность?

Далеки от действительности и заключения тов.Соколова о моей даче в Гейчае. Здесь тов.Соколов явно переборщил: цифры у него уже не двоятся, а троятся; он довел мой дом в Гейчае от 95 кв.м аж до 265 кв.м. Этим домом в Гейчае пользуются четыре члена Союза Писателей – я, моя супруга, мой сын и двоюродный брат. Как и другие писатели, живущие в Москве, Киеве, Тбилиси, Ташкенте и других больших городах и имеющие свои уголки для творчества – дачи вдали от шума, я тоже построил этот дом на честно заработанные деньги и на основании договора с государственными учреждениями (все документы и справки по этому поводу прикреплены).

Партийные взносы я так же плачу исправно. В 1972-73-м годах, когда 8 месяцев я лежал тяжело больной, мой сын, непра­вильно посчитав мой партийный взнос, заплатил даже больше положенного.

За то, что по какой-то причине ошибочно истолковав факты тов. Соколов пришел к несправедливому заключению пусть он ответит перед своей партийной совестью.

Я никогда не соглашусь с тем, что после долгих лет добросовестного труда, на 66-м году жизни мне выдвигаются необоснованные обвинения и моя биография писателя и коммуниста может быть запятнана. Это единственная цель моего письма.

С уважением, Расул Рза.»

Конечно, это письмо осталось без ответа.

В архиве отца есть еще несколько писем написанных первому секретарю ЦК КП Азербайджана тов. Гейдару Алиеву. Одно из этих писем по поводу угрожающего состояния редких наскальных рисунков в Гобустанском заповеднике. Здесь указывается необходимость скорейшего принятия мер по этому поводу. Другие письма связаны с делами энциклопедии. В них поднимаются вопросы печати, разрешения на продажу и т.д.

«1-й том АСЭ вышедший с 20-ти тысячным тиражом до сих пор не выпущен в продажу. В настоящее время предлагаем выпустить его с датой от 1972-го года... Прошу Вас отдать распоряжение по этим вопросам».

Из другого письма:

«Уважаемый Гейдар Алиевич!

Вопрос выпуска 1-го тома АСЭ до сих пор не решен, не утвержден состав редколлегии и редакторского совета. Мы сделали соответствующие поправки и исправления и написали по этому поводу письмо в ЦК, датированное 27-м июля 1972-о года. Вследствие того, что нет указа о сроке выпуска тома, редакция столкнулась с серьезными трудностями. Мы не можем получить выделенные для нас бумагу, лидерон, картон и другие материалы, и отказ от них ставит под угрозу дальнейшее снабжение АСЭ.

Мы, так же, не можем работать над материалами других томов энциклопедии, так как их содержание во многом связано с первым томом. Могли быть набраны материалы 2-го тома, но типография не принимает. Задержка печати и выпуска 1-го тома может закончиться большими проблемами. Напечатанные с большим трудом за пределами Республики (в Омске, Ленинграде и Москве) цветные и черно-белые карты могут быть расценены соответствующими органами как устаревшие, а их новое составление и печать кроме больших расходов потребуют и длительного времени.

Знаю вашу большую занятость, но, к сожалению, задержка выпуска 1-го тома АСЭ создает неблагоприятную обстановку для деятельности творческого коллектива, отвлекает его от работы.

Обращаясь к вам, я хочу довести до вашего сведения сложившуюся крайне напряженную обстановку в редакции АСЭ, и прошу решить вопрос о выпуске 1-го тома АСЭ в ближайшее время, тем самым создав нормальную обстановку для работы нашего коллектива.

Расул Рза.

4 января, 1972

Среди всех этих обстоятельных, подробных документов и писем я наткнулся на очень коротенькую записку. В отличие от других писем, напечатанных на машинке, это письмецо было написано от руки на русском языке:

Первому Секретарю ЦК КП Азербайджана тов. Алиеву Г.А.

Уважаемый Гейдар Алиевич.

Смертельно устал. Дальше не могу.

Жду Вашего решения.

Расул Рза. 25 VIII-75

Я не знал о существовании этого письма. По-моему, отец даже не отправил его. Каким бы сильным и стойким не был бы человек, бывают моменты, когда он чувствует себя слабым и смертельно уставшим. Наверное, отец написал это письмо в один из таких моментов. Написал и положил в папку. Потому что не хотел оставлять работу, не выпустив 1-й том. Хотел увидеть хотя бы один том результата работы, на которую потратил десять лет жизни, здоровья, нервов. Но это желание так и осталось в его сердце. Так и унес его с собой...

\* \* \*

Его освободили без всяких заявлений. Вернее, просто сняли с работы. Помню, когда Джафара Джафарова только освободили от должности секретаря, он сказал мне:

– Расула накажут втройне. Не избрали депутатом - это раз, он не попал в Правление Союза Писателей в Москве - это два, и рано или поздно его уберут из энциклопедии - это будет три...

С первого созыва Верховного Совета Азербайджана отец постоянно избирался депутатом (кроме одного раза, кажется на выборах в 1946-м году). В то время, работая министром кинематографии, он попал в немилость к М.Дж. Багирову. Багиров, стараясь унизить отца, говорил ему: «Вот, видишь, всех министров мы выдвинули в депутаты, а тебя нет». Об отноше­ниях отца с Багировым – то обласкивание и поощрение со стороны Багирова, то наоборот, неприятие им, но во все времена достойное поведение отца, их столкновение у Рафили на юбилее Низами, бесстрашные и резкие ответы отца Багирову - обо всем этом могли бы написать интересные воспоминания ряд людей. Но кто напишет, да если и напишет, кто вынесет в свет? И когда? И вообще, станет ли когда-нибудь достоянием общественности все то, что составляет целый пласт общественной жизни Азербайджана тех лет, оставившее глубокий след в сознании и моральном поведении большого количества людей, погубившее многих, а некоторых превратившее в духовных калек; того времени, когда, как сказал Самед Вургун «вышедшие из воды сухими псевдогерои» отмалчивались. Откроется ли, распутается ли, выявится ли когда-нибудь противоречивая, запутанная, и разносторонняя истина того времени? Станет ли ясным, кто есть кто? Или все что было – хорошее и плохое, отвага и трусость, целостность и подлость – все это, рассеявшись, исчезнет в плотном тумане эпохи навсегда? Кто знает? Кто знает...

Возможно, кто-то, когда-то прочтя эти строки, пожмет плечами: «Что это за разговоры, велико дело – не избрали депутатом или не попал в члены Правления. Какое это имеет значение для истинного поэта?»

Безусловно, если оценивать все это не в контексте собы­тий, а так сказать абстрагированно, с философской, общечелове­ческой и сверхвременной высоты, то конечно. Но ведь, мы живем и дышим воздухом именно этой действительности, тем более, если действительность эта – провинциальная. Так что, не принимать все это во внимание довольно сложно...

В любом возрасте, на любом уровне литературной и общественной позиции имеются различные способы давления на личность. Талант начинающего писать молодого поэта можно задушить путем непечатания его стихов. Признанного автора атаковать залпом критических выстрелов, да так, что выведя его из строя, в дальнейшем сделать недееспособным. Писателя с более высоким положением можно унизить, задавить, замучить тем, что возведя вокруг него глухой забор, изолировать его ото всех, в упор не видя его творений молчать о нем, в то же время, тужась, возвеличивать и раздувать как воздушный шар других, тех, кто стоит на много ступеней ниже... Все это давно апроби­рованные способы... и их закономерным результатом становится замолчавший в один прекрасный день телефон, дверь, в которую отныне никто не постучит, знакомые на улице, здоровающиеся и одновременно озирающиеся по сторонам, кабы кто не увидел...

Чтобы до глубины все это осознать, нужно самому все это пережить. Когда над Энциклопедией и «Гобустан»ом сгущались тучи, я сам наблюдал, как откровенно меняется отношение людей лично ко мне.

Люди, которых я считал своими друзьями (и до сих пор считаю их таковыми, но это уже особенности моего характера, натуры) в схожих ситуациях повели себя совершенно одинаково. С одним из них я случайно встретился на улице Хагани. Мы двинулись в сторону Союза Писателей. Сначала я не понял явной нервозности в его поведении. Но издалека завидя кучку людей, стоящих перед Союзом, он приостановился:

– Извини, – сказал он, - но будет лучше, чтоб нас не видели вместе.

Со вторым я встретился на улице Вагифа, как раз перед зданием Дома писателей, в котором жил в то время. Мы остано­вились, чтобы поболтать, но я отчетливо чувствовал, что этот человек чем-то сильно обеспокоен, он хочет поскорее закончить разговор, все время смотрит на двери, окна, балконы здания и приговаривает одни и те, же слова:

– Хорошо бы, чтоб нас не увидели вместе.

Возможно, я преувеличиваю, придаю особый смысл этим словам и делаю из них слишком большие выводы. Не знаю, возможно, и так.

Возможно, и то, что в дословно повторяющихся предложе­ниях двух совершенно разных людей была логика всех времен - что за польза от такой прилюдной близости, а вред от этого весьма очевидный. Но, все же, мне показалось, что внезапно меня обдуло ледяными ветрами 37-го, и в эти минуты я понял не только смертельную печаль мифического Иисуса в Гефсиманском саду, но и до глубины души осознал «роковое одиночество» настигшее в последние дни и часы жизни реально существовав­шего Гейдара Гусейнова.

То, что избирающегося во все времена депутатом человека н:а сей раз не избрали, являлось показателем официального отношения к этому человеку властей, и раньше всех это взяла на заметку определенная группка людей – тех, кто всегда держит нос по ветру – цепочка, начинающаяся с министра, и кончающаяся работниками жилконторы. И некий средний руки поэт так же руководствовался этим отношением, когда имел дерзость возвратить, не напечатав в журнале стихи отца. Чиновник издательства мог вдоволь изгаляться, сокращая количество страниц в книгах отца, нарушая сроки их издания, вообще выкидывая их из плана. Цензура под лупой выискивала крамолу чуть ли не в каждом слове, в каждой запятой, находила уму не постижимые «потаенные смыслы», не допускала стихи к печати. Все – начиная от литработника журнала и кончая чиновниками из издательства и цензорами – были уверены: кто может устроить им взбучку за неуважение по отношению к человеку, который хоть и официально имеет звание Народного поэта и сорокалетний литературный стаж, но теперь в опале. Ну, кто?

Никто... Только лишь сам Расул Рза мог выдать этим «деятелям» так, что мало не покажется, а при встрече не подать им руки...

Только, что им с того?

Когда я перелистывал свои записи, то наткнулся на один текст, датированный 5-м января 1971-го года. Переписываю его сюда, как есть.

«Сегодня Расул рассказал мне свой сон. Он приснился ему сегодня (т.е. в ночь с 4-о на 5-е января). Итак: «Я вижу, что нахожусь в Тифлисе, на каком-то мероприятии. Произношу тост и говорю, что дело ведь не в яствах, находящихся на столе. Дело в душевной искренности. В этот момент встает какой-то армянин и начинает что-то говорить на своем языке. Я отвечаю: «Я не знаю, о чем говорит этот человек, но знаю, что, перебивать человека – признак невоспитанности». Затем я предлагаю выпить за здоровье грузинского и армянского народов. Потом вижу, что нахожусь в огромном, как здание аэродрома, фойе. Кругом меня армяне, а я совсем один. Они задевают меня. Я говорю, что написал стихи, посвященные Татулу Гурьяну. Один из присутствующих подходит ко мне и провоцирует меня на драку. Он хочет, что б я ударил его, а он бы меня толкнул, я упал и в давке был раздавлен. Со всех сторон на меня движется толпа. А я совсем один и нет у меня даже малейшей надежды на помощь. В этот момент я почему то зову умершего в 34-м году, двоюродного брата Агасефа. Почему он мне вспомнился, даже не знаю...»

Но я отклонился от сути. Отец поехал в Ереван на совещание работников энциклопедий. Там, во время его выступ­ления на совещании его позвали к телефону и сообщили, что он срочно должен вернуться в Баку.

Он вернулся и утром отправился в ЦК.

Я был на киностудии и каждые полчаса названивал. На работе отца не было, а домашний телефон не отвечал. Мама была на даче. Наконец, во второй половине дня трубку подняли. Отец уже был дома.

– Ну что?

– Все кончилось...

– Как, чем?

– Приходи, – сказал он.

Через пятнадцать минут я был у них. Он сидел в малень­ком кабинете и улыбался.

– Вот и все, наконец-то все закончилось...

Отец был у Г.А.Алиева. Алиев сказал, что завтра на бюро его освободят от занимающей должности.

Отец сказал Алиеву:

– У меня к Вам единственная просьба, разрешить мне не присутствовать на завтрашнем бюро.

– У нас никогда такого не было... но мы примем во вни­мание вашу просьбу.

– Я бы не сдержался на бюро.

Больше отец ничего не сказал, но для меня и так все было ясно.

Вечер того дня мы провели вместе. Из Донецка в Баку приехал мой давний приятель Владимир Васильевич Гажиев. Еще я позвонил Тогрулу Нариманбекову. Отец, Гажиев, Тогрул и я отправились в ресторан при гостинице «Азербайджан».

Гажиев и Тогрул поднимали тосты за здоровье отца. Гажиев говорил, что азербайджанский народ вправе гордиться таким сыном, как Расул Рза. Они не были в курсе дневных событий. И мы ничего им не сказали.

Утром следующего дня без присутствия отца на бюро его освободили от должности.

Прошло несколько лет и большинство присутствующих в тот день на бюро за те или иные ошибки в работе были освобож­дены от занимаемых должностей и членства в бюро. И каждый без возражений принимал обвинения своих вчерашних коллег, соглашался с ними, да еще и горячо благодарил в придачу.

\* \* \*

После того собрания бюро отец написал Г.А.Алиеву последнее письмо и его копия так же хранится в его архиве.

«Уважаемый Гейдар Алиевич!

До того, как встретиться с Вами, я поговорил с товарищем Гулиевым и сказал ему, что хочу подробно ознакомиться со справкой. Члены партбюро главной редакции, его секретарь, мой заместитель по научным вопросам находятся в настоящее время в Ереване и целесообразно отложить обсуждение этого вопроса на несколько дней.

Тов.Гулиев никак не отреагировал на мои слова, и я расценил это, как предрешение данного вопроса. Именно поэтому и принимая во внимание состояние моего здоровья, я попросил вас дать мне возможность не присутствовать на бюро. Вы дали на это свое согласие. Я не пишу об этом, чтобы оспорить решение бюро о АСЭ. Но защитить свое доброе имя мой долг. Как известно, когда АСЭ создавалась, в республике не было не соответствующих кадров, ни опыта формирования энциклопедии. За время работы главной редакции был создан коллектив, это коллектив состоял в основном из молодежи и они набрались опыта и навыка в работе.

Не хочу быть неискренним и поэтому выражаю свое удивление: почему меня не пустили поехать в Москву на встречу с советскими и зарубежными писателями, куда я был приглашен 21-25 октября 1975-го года, а посоветовали поехать в Ереван на совещание закавказских энциклопедистов?

Хотя уже в это время было решено освободить меня от занимающей должности в энциклопедии. После того, как выпуск 1-го тома был задержан на пять лет, было ли так необходимо ссылать меня в качестве главного редактора в Ереван и в середине заседания, в то время когда я выступал с речью, вызывать обратно?

Тов. Алиев Г.А. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы воздвигнуть достойный моего народа культурный памятник. Если я этого не достиг, это не моя вина. Если большая группа самых видных ученых республики «проявили беспринципность» (как было сказано в решении бюро – А.), как можно работать и создавать азербайджанскую энциклопедию с такими учеными?

Если новые товарищи, пользуясь накопленным большим опытом, смогут в ближайшем времени выпустить качественное издание АСЭ, я буду этому только рад.

С уважением,

Расул Рза.

\* \* \*

Балет Фикрета Амирова «Легенда о Насими» завоевал успех на юбилее поэта в Баку. Либретто было моим, и меня тоже включили в список участников московского вечера.

В газете, за кулисами звучали стихи Насими. Читавший эти стихи в Баку актер, не приехал в Москву. Поэтому стихи пришлось прочесть мне. Я прочел их из-за кулис:

Будь проклят этот мир,

Он не достоин человека

(подстрочный перевод)

После спектакля я подошел поздравить Фикрета Амирова, он сказал:

– И в Большом театре ты облегчил душу.

В ту самую ночь в Баку скончался Джафар Джафаров.

Из Москвы мы возвращались поездом, были с отцом одни в купе.

Отец чувствовал себя плохо. Сильно болела нога. Поста­вили термометр – температура была очень высокая. Постепенно состояние его еще более ухудшилось. Я обратился к начальнику поезда, дали телеграмму на следующую станцию. В Минводах к нам в купе вошел врач.

– Может начаться гангрена, – сказал он, – надо снять его с поезда, срочно уложить в больницу.

Отец не согласился.

– Я сойду только в Баку, - сказал он.

Сделали инъекцию, дали таблетку, немного сбили тем­пературу.

В Баку, заехав на полчаса домой, сразу же отвезли его в больницу.

Когда его осматривали, он с улыбкой спросил у молодого врача:

– Ну что, отнимете мне ногу?

Врач смутился:

– Нет, зачем же?

Так началась тяжелая болезнь, длившаяся больше четырех месяцев.

Сначала все как будто стало нормализовываться – ус­тановили, что в рану на ноге попала инфекция, и поскольку у него был диабет, для излечения требовалось длительное время – вроде бы страшного ничего не предвещало.

Но в конце ноября состояние внезапно резко ухудшилось, все показатели – сахар, остаточный азот, кровяное давление - достигли опасной черты, несколько раз он был почти в коматозном состоянии - не ел, не пил, не было сил произнести слово.

Болело все тело, под действием лекарств он становился вялым, не мог спать ночами. На руке от уколов образовался абсцесс, это тоже очень его мучило. Однажды при враче он оговорился, вместе «абсцесс» сказал «сепсис». Врач вздрогнул:

– Что вы говорите, бог с вами, какой сепсис, обыкно­венный абсцесс.

Я понял, что «сепсис» – страшное слово, но уже через несколько дней выяснилось, что состояние отца определяется именно этим страшным словом: «сепсис» – заражение крови.

Уход за тяжелым больным – весьма трудное дело, да еще если этот больной такой беспокойный, как мой отец. Болезнь как бы выявляла все негативное в его характере – он становился раздражительным и нетерпеливым, резким, придирчивым, капризным. Безусловно, и я, и сестры считали своим долгом, обязанностью, терпеть все его прихоти, были готовы выполнять любой его каприз, проводить бессонные ночи, выносить всякие неудобства, трудности. Но больше всего мучений выпадало на мамину долю. Если каждый из нас проводил одну бессонную ночь в неделю, то у мамы каждая ночь проходила без сна, и каждый день она находилась при муже. Мы с трудом заставляли ее отдохнуть один-два часа, вздремнуть немного. Духовная и физическая выносливость больной пожилой женщины была поразительной:

Теперь, по прошествии стольких лет, когда я мысленно возвращаюсь к тем дням, то думаю, что изнурительные дни и ночи у постели больного мужа отозвались маме потом. Мучения и страдания тех дней скостили ей жизнь; первые зародыши болезни, унесшей ее через восемь лет, возможно, появились в то время....

В те самые дни мама однажды сказала мне:

– Анар, какой, оказывается, хороший человек этот Имран.

Сколько лет она знала Имрана Касумова, но сказала об этом как об открытии.

–Что только ни понадобится – лекарства, врачи, тотчас организует. Делает все от него зависящее и не зависящее, чтобы достать, привезти, осуществить нужное.

Когда состояние отца совсем ухудшилось, мы позвонили Имрану Касумову с просьбой вызвать врача из Москвы.

Был приглашен очень хороший специалист – Георгий Сергеевич Кротовский. Он дал определенные рекомендации, но болезнь находилась в такой стадии, когда непременно нужно было вмешательство реаниматора. По рекомендации Кротовского из Москвы приехал молодой (собственно, и, сам Кротовский был молод) реаниматор В.В.Родионов. Эти два врача вытащили отца из критической ситуации, состояние его чуть-чуть стабилизировалось, но все же было тяжелым – и вдобавок боли, бессонница приносили ему немыслимые страдания.

Однажды, когда я остался рядом с ним на ночь, он неожиданно сказал:

– Смотри, не позволяйте хоронить меня в почетной аллее. Я не хочу этого.

– Не начинай, ради бога, – ответил я, – что еще за мысли лезут тебе в голову...

Он ненавидел все эти вещи – привилегии, различия по положению. «Почетная аллея, да к тому же за номерами один и два. Разве можно делить людей по номерам?»

Он отказался и от спецмагазина, когда работал в энцикло­педии.

Когда мама ругала его за это, он отвечал: «как все, так и мы», но дело в том, что и мама ругала его, в общем-то, в шутку. «Говоришь, как все? А ты знаешь, что у всех на рынках и в магазинах есть знакомства, сотни друзей, при помощи которых они достают необходимое, привозят это домой? У нас же нет таких знакомств»... Эти слова она тоже говорила просто так, без особого укора. Я даже уверен, что в глубине души она гордилась такой натурой мужа.

Кротовский с Родионовым предложили отвезти больного в Москву, но мы не могли решиться. Большинство бакинских вра­чей и некоторые наши близкие родственники возражали против этого. Но, наконец, пришли к решению везти его. Я благодарен судьбе за то, что мы приняли такое решение. Этим мы спасли его. (Разумеется, спасли его не мы, а московские врачи.)

Во всяком случае, к его жизни добавилось семь с полови­ной лет...

Помню, в тот январский день, когда мы должны были выезжать, один из врачей сказал:

– Вы совершаете большой риск. Возможно, что вы его даже не довезете до Москвы.

Эти слова были так же беспощадны, как приговор Но­виковой по поводу мамы, и, к счастью, так же, как тот приговор, необоснованный (мне приходилось не раз выслушивать такие беспощадные вердикты бакинских и московских врачей, и как бы ни был я благодарен медикам, неоднократно вырывавшим моих родителей из когтей смерти, не могу умолчать и об этом).

Сказанное этим врачом было сходно со словами Новико­вой еще в одном: оба приговора ограничивались определенным, очень коротким временем. Новикова говорила:

– Ваша мама может не выдержать операции.

Этот врач сказал:

– Не довезете до Москвы.

Было еще одно обстоятельство – в поезде меня с ними не будет. Проводив их – папу, маму, двоюродного брата, меди­цинскую сестру - на бакинском вокзале, я в ту же ночь вылетал самолетом в Москву, чтобы подготовить место в больнице и, встретив поезд, сразу же отвезти туда больного.

Если больной доедет до Москвы живым...

Когда в Москве я пришел встречать бакинский поезд на Курский вокзал, я не знал, что ждет меня через несколько минут. Больного отца встречаю или, не дай бог, его труп?

\* \* \*

Мне кажется, что мысль, с такой обнаженностью выска­занную врачом в Баку, разделяли и многие близкие, родствен­ники и большинство провожавших его на бакинском вокзале, наверное, с грустью думали, что видят Расула Рза последний раз. Может быть, еще и поэтому на вокзале собралось так много народу.

Пришли проститься. Проститься навеки.

Среди провожавших был и покойный вице-президент Академии наук Мамед Ариф. Кому пришло бы в голову, что лежавший теперь на нижней полке купе Расул Рза, чья жизнь висит на волоске, вскоре встанет, а через несколько лет будет на похоронах Мамеда Арифа, пришедшего сейчас прощаться с ним.

Мамед Ариф поднялся в вагон. Когда он наклонился к отцу, чтобы попрощаться, отец, с трудом шевеля губами, сказал:

– Ариф, пригляди за энциклопедией[[11]](#footnote-11) и еще побереги Такого-то. Не давай его обижать.

Конечно, папа назвал фамилию человека, которого я здесь не называю.

Тот человек работал в энциклопедии, отец ему бесконечно доверял. То, что отец так легко верил людям, наверное, было его слабостью, и в результате он часто обманывался. Но, с другой стороны, разве это слабость? Ведь и дети очень доверчивы, потому и легко обманываются. А поэты – всегда немножко дети.

В общем, этот человек втерся в доверие к отцу, и если для поэта детская доверчивость естественна, то для опытного руководителя большого учреждения незнание людей, безус­ловно, недостаток.

Я совсем не знал этого человека. Но, не зная, относился к нему с некоторым недоверием. Недоверие мое было небес­причинным. Однажды я видел его книгу, подаренную отцу. Она была с такой льстивой, длинной надписью, что у меня возникло подозрение. Нет, я не говорю: отец, может быть, и больших похвал был достоин и эти слова уважения, почтения, любви могли быть искренними. Но, во всяком случае, адресованность таких слов руководителю учреждения, где автор работал, как-то покоробила меня, и, к сожалению, будущее подтвердило обоснованность моих подозрений.

В эти последние минуты, расставаясь с Баку, быть может, навсегда, на пороге смерти, мучительно преодолевая боль, отец думал об энциклопедии и конкретно об этом человеке, просил Мамеда Арифа беречь именно его.

А вскоре, в самые тяжелые дни папиной болезни, в энци­клопедии проводили совещание, и некто, для которого совесть, очевидно, была лишним грузом, поносил отсутствовавшего главного редактора. Он говорил: как может человек, не имеющий диплома о высшем образовании (у отца действительно не было диплома о высшем образовании, и он неоднократно сам говорил, писал об этом), руководить энциклопедией? Так вот, в этом совещании принимал участие и тот, которого отец на смертном одре поручал академику Мамеду Арифу. Нет, разумеется, он не выступал против отца, но и не сказал ни слова в его защиту, сидел и молчал.

Мне вспоминается еще один эпизод. В дни, когда мама, тяжело больная, лежала в онкологическом центре, когда мы с отцом были при ней в Москве, мне попала в руки газета из Баку. Был опубликован отчет о собрании в Союзе писателей, краткий обзор выступлений: горячо критиковали формализм в стихах Расула Рза, и среди этих выступлений (то ли широта редактора тому причиной, то ли его невнимательность) была и фраза о том, что молодой поэт Вагиф Насиб не согласился с выступавшими и попытался защитить поэзию Расула Рза.

В разные периоды - в 30-х годах, во второй половине 50-х, в начале 60-х годов против отца организовывались мощные критические кампании, и во все эти периоды у него бывали не только недоброжелатели, хулители, но и друзья, сторонники, защитники. Но я никогда не забуду эту фразу в официальном газетном отчете, которую я прочел в суровую московскую зиму, в дни тревожных ожиданий, когда у нас была пора: куда ни кинь, кругом клин, и имя Вагифа Насиба – не говоря о его талантливой поэзии и прозе – только за одно это рыцарство всегда будет жить в светлом уголке моей памяти.

Мы положили отца в экспериментальную хирургическую клинику, в отделение известного врача Марата Дмитриевича Князева. После двухдневного обследования Князев мне сказал: пока мы не получили всех результатов анализа, но предполагаем, что у вашего отца – опухоль, А общее состояние таково, что операция невозможна. Поэтому, как видно, в ближайшие дни нам придется вернуть его обратно. Я слышал о ваших обычаях, мне кажется, лучше, если это произойдет дома, на родине.

Яснее и откровеннее не скажешь...

Я же этот приговор, естественно, скрыв, изменив суть, приведя иные причины, должен был сообщить маме и при­летевшей в Москву Фидан.

Я попросил Князева ничего не говорить маме и Фидан.

– Почему? – удивился он и добавил: – Мама ваша – больной человек, ей, возможно, действительно пока говорить не нужно. Но у сестры вашей есть такое же, как у вас, право знать правду.

Прошло еще два дня – но что это были за дни, одному богу извест­но; Князев утром, улыбаясь, сказал мне:

– Я вас поздравляю, наше предположение не подтверди­лось. Опухоли нет. В крови найден стафилококк. У нас есть мощ­ное лекарство против этого микроба. Я полагаю, все кончится хорошо.

Оказывается, до меня он поздравил самого папу, и папа только тогда узнал, что они подозревали опухоль.

Как только определили микроб, лечение локализовали, и больной стал поправляться. Оживал так быстро, что звонившие из Баку не могли поверить в такое скорое исцеление.

Эльчин тоже был среди провожавших на бакинском вокзале, видел состояние отца, и вот теперь, приехав в Москву, он навестил больного и не поверил своим глазам: так изменился, поправился папа за короткое время - десять-пятнадцать дней.

В январе 1974 года отец излечился от болезни, продолжав­шейся более четырех месяцев, и после этого прожил ровно семь лет и три месяца. За эти подаренные судьбой ли, врачами ли семь лет и три месяца он написал стихотворение «Жизнь чинары», стихи о Шуше, о Бабеке, несколько циклов стихов, поэмы «Тысяча четыреста восемнадцать» и «Девичья башня», очерки, статьи о языке, о молодых поэтах, беседовал с корреспонден­тами, дал не одно интервью, участвовал в днях Низами в Гяндже, в днях Сабира в Шемахе, в юбилейном вечере, посвященном 70-летию Сабита Рахмана, в Баку. Московское телевидение сделало передачу о нем, бакинская киностудия - фильм. Тогрул Нариманбеков написал его портрет. Съездил в Москву на съезд писателей, снова стал членом правления Союза писателей, на новых выборах был вновь избран депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР и в 70-летие получил звание Героя Социалистического Труда.

\* \* \*

4-го декабря 1980-го года, в здании Верховного Совета вручая ему это звание Г.А.Алиев сказал: «Расул Рза один из выдающихся представителей советской литературы. Он наряду с Самедом Вургуном и Сулейманом Рустамом считается одним из основателей Азербайджанской Советской поэзии...

В творчестве Расула Рзы, на высоком художественном уровне, развернуто отражены как история Азербайджана, так и современная социалистическая жизнь, активный труд труженников республики.

...Поэзия Расула Рзы стремительно развиваясь, ярко отображает позитивные процессы, происходящие в последнее время в республике, помогает труженикам в их идейно-полити­ческом и эстетическом воспитании.

... Художественное творчество Расула Рзы в нашей рес­публике любимо всеми, получив широкое признание и уважение, оно принесло автору большую славу, как в своей стране, так и за ее пределами».

Отец выступил с ответной речью:

– Сегодня я считаю себя одним из самых счастливых сыновей Азербайджана.

... Это высокое звание дает мне силы трудиться с еще большим вдохновением. Я заверяю партию, что не пожалею на это дело все свои силы и умение.

Это было последним выступлением отца. Перед началом церемонии вручения в здании Верховного Совета врач сделал отцу укол для поддержки функции сердца.

\* \* \*

В связи с семидесятилетием отца по радио и телевиде­нию передавалось множество передач, в газетах и журналах печатались статьи. Со всех точек Азербайджана и СССР поступали сотни телеграмм, поздравлений, писем от известных деятелей литературы и искусства, простых читателей.

Мама как-то сказала:

– Я даже не предполагала, что народ так любит Расула.

Я добавил:

– Азербайджанский народ очень любит своих поэтов. Особенно тогда, когда их любит власть.

\* \* \*

В последние годы, не считая тех минут, когда он веселился вместе с внуками, я видел его действительно радостным лишь однажды – когда его выдвинули депутатом.

Пишу это и думаю, что такой повод для радости может уменьшить образ поэта, саму личность отца в чьих-то глазах. Но, не смотря на это, я пишу, в первую очередь потому, что это действительно было так, а я взялся писать обо всем без оби­няков. И, во-вторых, потому, что эта радость отца совсем не умаляет его личностных качеств. Выдвижение в депутаты (а если быть совсем точным, то восстановление его статуса депутата) было, для отца торжеством справедливости, подтверж­дением его правоты. Ведь к присвоению ему звания Героя Социалистического Труда, которое считалось в несколько раз престижнее депутатства, отец отнесся очень спокойно, даже не особенно этому обрадовался...

Я считаю своим долгом отметить заслугу Имрана Касумова во всех этих делах. В выдвижении отца депутатом и пред­ставлении его на звание героя Имран сыграл большую роль. Конечно, все решал Г.А.Алиев. И все эти акты уважения и почета в последний год жизни отца исходили от него. Но в этом была и заслуга Имрана. Он рассказывал, что когда предложил Г.А.Алиеву кандидатуру Расула для избрания его в депутаты Алиев отнесся к этому вопросу с большим удовлетворением. И присуждение отцу звания Героя Социалистического Труда тоже было заслугой Г.А. Алиева. В то время в народе ходила молва, что Г.А. Алиев где-то сказал, что если не сможет получить звание Героя для Расула Рзы, он не сможет себе этого простить. Было ли это на самом деле или нет, не знаю.

В апреле 80-го года за месяц до семидесятилетия отца он вновь лежал в больнице. Имран позвонив мне сказал, что был у Гейдара Алиевича и тот говорил с ним по поводу Расула. Он сказал, что обсуждал это в ЦК КПСС и там никто не сомневался в том, что Расул Рза достоин этого звания, но для нашей республики три писателя со званием Героя – многовато, ведь в сорокатысячной Украине всего два писателя были удостоены этого звания, а в Армении вообще ни одного.

Я знал о том, что у Имран есть склонность к преувели­чению и поэтому сделал для себя совершенно очевидный вывод: отцу звание не присудили и все эти объяснения ни что иное, как попытка Имрана подсластить пилюлю.

Но в конце апреля мне неожиданно позвонили:

– С вами будет говорить Гейдар Алиевич.

Г.А.Алиев поинтересовался здоровьем отца, я ответил, что он очень слаб и находится в больнице. Потом Алиев в точности подтвердил все то, что говорил мне Имран:

– Я обстоятельно поговорил по этому поводу и с товари­щем Сусловым и с товарищем Черненко. Они совершенно увере­ны, что Расул Рза достоин этого звания и ни в коем случае не сомневаются по этому поводу. Трудность в том, что в нашей республике уже два писателя удостоены этого звания, а в сорока­миллионной Украине звание Героя присуждено только двум писателям. Но, в конце концов, мы смогли убедить товарищей, и указ уже принят. Поздравляю вас. Сообщите это отцу, в любом случае, эта новость в моральном смысле поддержит его.

– Спасибо, Гейдар Алиевич, благодарю вас от имени всей нашей семьи.

Было начало девятого, но я сразу же помчался в больницу. В тот вечер около отца дежурила Фидан. Ворота и двери больни­цы давно уже были заперты. Я кое-как перелез через забор и пробрался в больницу.

Фидан страшно удивилась:

– Откуда это ты в такое время?

– Он не спит еще?

– -Нет.

Отец с трудом открыл глаза. Я поцеловал его.

– Поздравляю. Ты стал героем.

Он слабо улыбнулся:

– Спасибо.

И снова закрыл глаза.

19-го мая в день его рождения эта информация появилась во всех газетах и в тот же день отца перевели из общей палаты в палату-люкс. Г.А.Алиев позвонил отцу, поговорил с ним, поздравил. Отец поблагодарил его. Из Москвы позвонил председатель Верховного Совета Гурбан Халилов и тоже поздравил отца.

Члены правительства присылали в палату отца цветы, его приходили проведать министры и работники ЦК, все секретари райкомов слали поздравительные телеграммы.

Родившийся в мае ровно семьдесят лет тому назад отец, оказывается, провожал свой последний в жизни месяц май. В следующем году май он уже не увидит...

*Я родился в цветущее утро мая.*

*Может быть, уйду в январский вечер.*

*Не накрывайте гроб мой шелком!*

*Не собирайте людей на похороны.*

*Просто положите голову мою на горстку земли.*

*Я любил эту землю.*

*Только любовь моя не была ни табло*

*выставленном на выставке,*

*ни ослепляющим взоры камнем на перстне.*

*Моя любовь была любовью -*

*Простой, хорошей...*

\* \* \*

1980 год мы проводили все вместе. Последние годы мы редко встречали вместе Новый год. Мы – дети, невестка, зятья, внуки - вечером перед Новым годом заходили к родителям, поздравляли их и расходились каждый в свою компанию.

Последние годы у меня было странное предчувствие: мне казалось, что если мы проведем новогоднюю ночь с родителями, это будет последняя новогодняя ночь, проведенная вместе. Почему я так думал, откуда это запало в сердце? Не знаю. Но так и получилось.

1980-й мы проводили вместе. Папа тоже выпил глоток шампанского – как оказалось, поднял последний в своей жизни бокал.

Мы пожелали друг другу в новом году больших радостей, счастья.

Часы пробили двенадцать. Пришел 1981 год. 1981-й!

Моя память с детства хранит первые посленовогодние ми­нуты, папа всегда говорил: подумать только, уже и нового года пять (или десять, пятнадцать) минут прошло, как время бежит, ужас.

Потом, умолкнув, задумывался, будто прислушивался к чему-то, будто хотел расслышать часы – не настенные или наручные, а те, которые отсчитывали секунды, минуты в его Внутреннем мире.

Тик-так, работают часы,

падают в вечность

невозвратимые мгновения жизни.

Время забирает, уносит людей

в дальние дали,

откуда до сего дня никто не возвращался.

Пока есть время, смотри на мир!

Вложи камень в стену!

Цветок понюхай...

Пока есть время,

теплом твоих рук

пусть согреется чья-то рука.

Сколько еще дел надо сделать...

...Будь беспощадным к врагу,

приветлив с другом!

Пока есть время,

так живи, так старайся,

чтобы однажды, когда тебя не будет,

каждый ясно бы увидел

зияющую пустоту на том месте,

где когда-то стоял ты.

С первых же дней 1981-го папино состояние резко ухудшилось. Второго января мы повезли его в больницу.

Мама тоже жаловалась на боли в животе. Но как всегда не теряла оптимизма, спокойствия, юмора.

\* \* \*

В больнице мама написала Туралу шутливые стихи:

*Баллада, оратория, кантата и прочая mama посвященная*

*Туралу или Туралнаме*

На голове чалма его,

В руке яблоко его

Ты не голодай,

Эй, худой Турал

И не возникай

С горлом перевязанным

Кушай пожирней

Эй, худой Турал

Ты не возникай

В школу не ходи

Больше не шали

Гюнель не щипай

Эй, худой Турал

Ты не возникай.

Слова Нигяр, музыка Гюнель, мотив песни «Фатмабаджи» исполняют Анар и Земфира. На дефе играет Расул.

29 января 81-го года. Больница. 9 утра.

Кто знал, что эти шутливые стишки последнее, что вышло из-под ее пера..

В феврале папино здоровье улучшилось, врачи разрешили выписаться из больницы.

Я привез их домой и на две недели улетел в Италию.

А возвратившись, как уже писал выше, увидел их снова в больнице.

14 марта – день моего рождения. Днем я пошел в больницу. Меня поздравили, мамино состояние было совсем нехорошее. Она выглядела хуже папы – усталая, подавленная, слабая, жаловалась на боли.

Вечером к нам пришли мои сестры, родственники, друзья. Как будто у всех у нас появилось предчувствие, что это наше последнее беззаботное торжество накануне тяжелых испытаний, невосполнимых потерь.

В тот вечер мы просидели до утра. Многие из гостей разошлись. А Земфира, Салеха, Эмин, Вагиф Самедоглу и я все еще сидели и никак не могли наговориться. Вспоминали бедного Вагифа Мустафазаде. Он был одноклассником и школьным другом моей двоюродной сестры Салехи. Через два дня, 16-го марта в Доме Актера должен был пройти вечер памяти Вагифа. На том вечере должен был выступать и я.

Во второй половине дня 16 марта я пошел в больницу. Мама собрала свои вещи.

– Забери меня домой, – сказала она, – я не могу больше оставаться, сил нет.

Никогда я не видел ее такой издерганной, нервы у нее были на пределе.

– Через три дня меня тоже выпускают, – сказал папа, – я говорю Нигяр, останься еще на три дня, вместе поедем.

– Нет, нет, – торопливо произнесла мама, – я уезжаю сегодня.

Отец не возражал.

Я привез маму домой, и здесь она разрыдалась.

– Сил больше нет, – сказала она.

Уход за тяжело больным мужем в течение долгих лет и собственные болезни – диабет, гипертония – расшатали ее нервы. И зловещий рак, как сама она шутила, дважды безрезуль­татно набрасывавшийся на нее, оказывается, уже несколько месяцев разрушал ее изнутри. Но об этом пока никто не знал, ни врачи, ни мы, ни, естественно, она сама... Дело, творимое болез­нью исподволь, тайком, обнаружится только через некоторое время – когда уже будет поздно.

Через три дня и отец выписался из больницы. Мама была в постели, боли все еще беспокоили ее, но общее состояние в определенной степени улучшилось, нервы немного успокоились. Она улыбалась и своей обычной выдержкой, стойкостью успокаивала всех нас, вселяла надежду в наши сердца; хотелось верить, что все кончится хорошо.

23 марта мы вызвали другого врача, чтобы он осмотрел маму. После осмотра он сказал мне и сестрам, что не хочет нас пугать, но в области желудка нащупывается опухоль. Надо срочно сделать анализы в условиях стационара.

Мама ни за что не хотела возвращаться в больницу.

– Эта больница мне просто опротивела, – говорила она.

– Всего на два-три дня, – сказал врач, – анализы сделают, вы снова вернетесь домой.

На следующий день я с киногруппой должен был выехать в Шушу: мы начинали съемки фильма об Узеире Гаджибекове и должны были выбрать натуру.

– А когда вы вернетесь? – спросил врач.

– Через два дня.

– Тогда пусть Анар съездит, вернется, потом отвезет меня в больницу, – сказала мама.

Договорились.

Проводили врача, посидели, побеседовали, посмеялись. Как будто хотели убежать, укрыться от кошмара дней, надвигающихся на нас как призрак.

Теперь я думаю, что тот самый вечер – 23 марта, первый день весны, был, оказывается, последним вечером, проведенным всеми нами вместе – папой, мамой, Фидан, Тараной, мной – в этом доме, доме наших родителей, в доме нашего детства.

Около 11 вечера я вышел от них, шел по направлению к своему дому, и, по мере того, как шагал по улице Хагани, мозг мой заполнялся свинцовой тяжестью – постепенно я все больше осознавал, насколько серьезна грозящая маме опасность. Сгоряча не сразу воспринятую эту истину я постепенно осмысливал с полной ясностью. Впервые я понимал, что, возможно, мы потеряем маму раньше, чем отца. А потерять маму означает потерять их обоих, потому что все, знающие папу, подтвердят, что он без Нигяр не смог бы жить...

Был весенний вечер, моросил мелкий дождь, из открытого, окна чьей-то квартиры доносился звук телевизора. Акиф Исламзаде пел «Сары гялин»[[12]](#footnote-12).

...Мне казалось, что и этот дождь, и эта старинная песня пробиваются, проникают из какой-то другой эпохи моего существования и голос Акифа звучит с того далекого берега жизни.

Все это – где-то в ином мире, по ту сторону, отделенную от Сегодня пропастью, на противоположном склоне-косогоре. С той стороны, с того края – из навеки утерянных далей доноси­лись старые мелодии, знакомые песни, удаляющиеся, пропадаю­щие голоса, я слышал слова, которые когда-то поблекнут, забудутся.

Я пришел домой, пошел в кухню, закрыл за собой дверь и, может быть, впервые за свою взрослую жизнь заплакал.

Дети спали, Земфира тоже не могла услышать мой голос, но женской интуицией что-то почувствовала и пришла в кухню.

– Что случилось?

Я рассказал. Она старалась успокоить меня – без анализов, одним только осмотром как можно определить такое, к тому же опухоль может быть и доброкачественной...

Мой собственный разум тоже искал утешения.

Но сердце знало жестокую правду...

Один Бог знает, с какими чувствами я ехал в Шушу. В одиннадцать вечера мы доехали до Агдама – в Шушу надо было ехать утром. Из Агдама я позвонил в Баку. Тарана сказала: не бойся, ничего такого нет, но мы решили отвезти Нигяр в больни­цу завтра.

– Ну подождите один день, – сказал я, – послезавтра я тоже буду в Баку.

– А ты здесь абсолютно не нужен, мы договорились с врачами, утром повезем. – Потом добавила: – Завтра и Аббас приезжает.

Муж Тараны Аббас учился в Москве на курсах усовер­шенствования врачей, до окончания срока оставалось четыре-пять месяцев. Почему же, бросив ученье на середине, Аббас приезжает? Ведь и это, наверное, один из признаков опасности, нависшей над мамой?

Тарана передает трубку самой маме - она говорит со мной весело, бодро шутит, заклинает, чтобы я не беспокоился, не нарушал своих дел. Потом трубку берет папа, он тоже говорит радостным, беспечным тоном...

Наверное, эта ночь – ночь с 24-го на 25 марта, которую я провел в маленьком, душном, сыром, с обвалившейся штукатур­кой номере агдамской гостиницы, была самой страшной в моей жизни. Даже страшнее ночи 1 апреля, когда я потерял отца, и ночи 10 июля, когда я потерял маму. Я потерял их, причем обоих сразу, в эту ночь, именно в эту мартовскую ночь.

В эту ночь я навеки расстался с ними. В эту ночь со всей ужасающей очевидностью мне стало ясно, что скоро - и очень скоро - они нас покинут, и нет на свете силы, которая смогла бы предотвратить это.

Было два или три часа ночи, не знаю. Мои спутники спали в разных номерах гостиницы.

Сердце мое разрывалось, мне хотелось встать, разбудить их всех, чтобы не мешкая ни минуты отправиться в путь, вернуться в Баку. Или, напротив, не будить никого, не говорить никому ни слова, одеться, выйти на улицу, если в это время нет поезда, самолета, найти машину, такси, хоть пешком идти, пока смогу – только бы не оставаться в этой комнате, только бы добраться до Баку.

Это была какая-то паника, я совершенно потерял голову. Мне казалось, что остались считанные не то что недели, дни, но и часы, минуты, я могу опоздать, не успеть.

Оделся, вышел на улицу, но в такую пору ночи уехать в Баку, естественно, было невозможно.

Понемногу трезвый голос рассудка успокаивал меня, извечные человеческие уловки самоутешения, самообмана, самоуспокоения рождали лживые надежды: все наладится, все будет хорошо, все плохие прогнозы, как в прошлые разы, окажутся ложными, когда опасность минует, мы расскажем друг другу о своих волнениях и спокойно посмеемся. И снова, как в другие трудные моменты жизни, в напряженные минуты, в часы отчаяния, упование было на чудо: мне хотелось верить, вернее, убедить себя, что и на этот раз, как в прошлые разы, судьба не оставит нас в беде.

Утомленный перегрузками длинного дня, нервным напря­жением, я вернулся в свой тесный, продолговатый, как тюремная камера, номер, свалился на кровать и ближе к утру заснул.

Через два часа мои спутники разбудили меня, мы поехали в Шушу. Я поставил условие, что сегодня во что бы то ни стал мы должны вернуться в Баку. Галопом пройдясь по Шуше, мы присмотрели места для съемок и вечером вернулись в Баку. Земфира сказала, что сегодня утром отвезли тетю Нигяр в больницу, а Турал у дяди Расула, ночует с дедушкой.

Рано утром я помчался в больницу – мамино состояние меня сильно успокоило – мне даже показалось, что судьба услышала мои мольбы в агдамскую ночь и все действительно будет хорошо.

На следующий день – 27 марта – мы должны были отвезти отца в мардакянскую больницу. Наш родственник, который водил папину машину, Фикрет Агазаде, Энвер Мамедханлы, отец и я отправились в Мардакяны. Папа сказал:

– Давайте заедем в больницу к Нигяр, потом поедем. Они беседовали несколько минут, утешали друг друга, что чувствуют себя хорошо, просто отлично, нет никаких оснований для беспокойства, вскоре они поправятся и снова будут вместе.

Попрощавшись, расстались.

\* \* \*

В этот день они расстались навеки – откуда было знать, что в последний раз видят друг друга, откуда было знать, что больше никогда, никогда не встретятся.

\* \* \*

За 50 лет до этого мартовского дня они познакомились, 47 лет назад обручились, 44 года назад поженились, две трети отпущенного им срока жизни прожили вместе, рядом. И радости них были общие, и печали...

Стали отцом и матерью троих детей, дедушкой и бабушкой пяти внуков, авторами сотен книг.

Побывали во многих городах, странах. И друзей обрели, и врагов. Порой ссорились и мирились.

Порой дальние поездки, чужие города отделяли их друг от друга.

Осталась я, глядя вслед

самолетам, с грохотом

отрываясь от земли, взлетающим,

В далеких морях

провожала тебя в больших кораблях.

Расстраивалась, плакала

вслед поездам,

уходящим со станций.

Всегда надеялась

на завтра, на встречу,

Небеса просторны,

моря глубоки,

что видят твои светлые глаза?

Это признание Нигяр Рафибейли.

А это отрывок из стихотворения Расула Рза, написанного им в 1942-м в Керчи:

Если без меня ты будешь гостьей этого мира,

Что ж, любимая, только будь здорова.

Кто увидит без краски, бледные губы,

Все равно поймет, что ты моя.

По дороге отец сказал Фикрету:

– Езжай по старой дороге, хочу взглянуть на дачу.

На развилке пути отец велел остановить машину. Повел нас в шашлычную.

Мы не знали, что едим вместе последний раз.

Он беседовал с Энвером.

У папы не было родных братьев. Но никакой брат не мог бы быть ему так близок, как сын его дяди по отцу и тети по матери писатель Энвер Мамедханлы. Всю жизнь они были самыми близкими друзьями.

Они с Энвером говорили об обычных вещах. И не знали, что два двоюродных брата, чьи думы, радости и горести, с тех далеких детских дней, когда папа учил Энвера, бывшего моложе его на три года, счету, говорил «не еди» (покушал), а «едди» (семь), до сегодняшнего дня – 60 лет были общими, теперь беседуют последний раз.

Мы приехали на нашу дачу в Бузовны. 40 лет каждое лето мы проводили на этой даче.

...Море, синее-синее море, на море – белоснежные пара­шюты, на берегу – красочные пионерские слеты последних дней лета, годы, беременные будущим, беспечные, беззаботные, с тысячью надежд, свободные от груза прошлого.., скалы, пески, раскидистое тенистое тутовое дерево, самый крупный, самый сладкий белый тут – на высокой, недосягаемой ветке, мы трясем ветки, под них подставляем скатерть, ягодки сыплются туда одна за другой, потом какой-то негодяй вылил известь под дерево, засушил этот величественный тут...

...Лозы, грозди, как будто, чтобы погладить свои ягодки, трущиеся о мягкий, холодный, мелкий песок; зеленый виноград, поспевающий раньше всех из виноградных сортов – пишраз, кишмиш, чьи виноградники самые мелкие, самые сладкие сорта – белый шаны, черный шаны, сарыгиля, к концу августа напоми­нающий по вкусу мед, с раннего утра покрытые росой инжиринки (в зеленой кожуре, как арбуз красные внутри), заросли камыша на границе нашей дачи, папа плел из камышей большие и малые корзины, это умение – с детства, когда он плел корзины, продавал и помогал семье. Выкладываем дно корзины виноград­ными листьями, наполняем виноградом, посылаем соседям, приятелям. Стрекот кузнечиков по ночам, год за годом все больше плодящиеся комары, ряды белых пологов на верхнем открытом балконе, отец ночью, включая фонарик, вылавливал пробравшихся под полог, найдя где-то дырочку, комаров... 200-300-ваттные электролампы у дверей дальних соседей – бьющие прямо в глаза, гудок электрички, гул моря, доносящиеся из санаторных репродукторов старые заезженные танго, в воскресенье с 2-х до 3-х часов дня окутывающие все вокруг как мягкий туман мугамы, игривые теснифы, ренги, снова медленные, тянущиеся и тянущиеся мелодии, высокие трели, внезапно срывающиеся и столь же внезапно стихающие безумные ветры, папина, мамина молодость, дни, когда была жива бабушка, сказки на ночь, неожиданно наезжавшие вечером шумные гости, мангалы с углями, арбузы, дыни, опускавшиеся в колодец для охлаждения, старая, со скрипящими пружинами, ржавая железная кровать, на которой мама отдыхала, урывая короткие отрезки дня, проводимого в жаркой кухне, сложенные газеты в папиной руке, которыми он убивал мух... звездные, лунные ночи, сохнущие на веревке купальники, жар песка, который днем обжигал нам ноги, соленые лужицы пляжа, пьянящий простор моря, после купанья – жажда и чай из соленой воды, пустая, безлюдная дорога по берегу, по которой в пору нашей юности я ходил пешком из Бузовны в Мардакяны – на Земфирину дачу... Мысли, грезы, надежды... Летняя пора нашей жизни... шумные дни... наша дача в Бузовнах...

В день 27 марта 1981 года наша дача в Бузовнах выгляде­ла опустелой и печальной... Или, может быть, так казалось мне.

А может быть, в тот день я смотрел на дачу глазами отца. Ведь он как бы приехал прощаться с Бузовнами. И у него появилось предчувствие, что эту дачу, которую он строил долгие годы, порой жалуясь на ветер, песок и пыль, но все равно любя за многие воспоминания, связанные с ней, он видит в последний раз.

Он осматривал лозы, оценивал работу садовника: «...хо­рошо обработал корни», – потом, умолкнув, долго, задумчиво смотрел на сад. Что он думал в эти мгновения?

Где спят ветры, интересно?

Откуда облака набирают слезы,

Когда бывает мороз?

Реки где отдыхают, интересно?

Молнии почему так быстро гаснут?

По ту сторону самых далеких звезд

Что есть, кто есть, интересно?

...Тихой-тихой была дача.

Тихим-тихим были Бузовны. Притихший безлюдный по­селок.

Как будто легкий ветерок, подметя дачу, успокоился, сгреб песок под ограду.

Теплый мартовский ветерок легонько гладил песок, ти­хонько шевелил виноградные листья, нежно колыхал травы, цветы.

Нет ни лодки, ни облака,

ни скопления чаек сегодня.

От холмиков песка

весь берег в узлах.

Вытянулся в ниточку

но краю моря...

...На поверхности моря

из пенистых волн

как пуговички пятнышки сели

на mpeneщущие небеса.

Как будто сегодняшнее

одиночество моря

оторвалось от его грохота

и упало на это место.

Теперь, через полтора года, осенью 1982-го, чтобы напи­сать эту работу, я уже три дня уединенно живу здесь, на бузовнинской даче.

Приехал 19 сентября, сегодня, 22-го, хочу закончить пер­вую часть работы, даже если придется работать всю ночь до утра.

Завтра утром я должен возвратиться в Баку. Там закончить работу не удастся

Дело не в том, что не могу выкроить час-два в день – это не та работа, которой можно заниматься между делом, в промежутках. Эта работа требует от меня все мое время, дни и ночи, все мои мысли, мое существо.

Требует полного отрешения от всего – встреч, слов, деловых свиданий. Требует, чтобы я целиком погрузился в свой внутренний мир. Требует, чтобы был только я.

Один. И еще они – их голоса, лица.

Звуки шагов.

Дыхания.

Стихи...

Ночь. Тихая звездная бузовнинская ночь. Я слышу папин голос:

Порой мне представляется,

что звезды – это перламутровые пуговички

на вороте неба.

Если расстегнешь эти пуговички,

увидишь иной мир,

Там нет ни пыли,

ни тумана.

Ни смерти, ни крови...

Я слышу мамин голос:

Я

во сне журавлем становлюсь

по ночам,

взмахнув крыльями,

взлетаю с земли...

Пристраиваюсь к клину журавлей,

выстраивающихся в бескрайних небесах.

Летим, пока летится.

Аромат земли уносим

в звездные края.

Голос жизни примешиваем

к печальному одиночеству луны,

холодно поблескивающей в небе.

По утрам

зори

будят меня.

Радуясь, просыпаюсь,

встаю,

потом весь день

ни охоты у меня не бывает,

ни времени

снова оторваться от земли,

снова стать журавлем.

Сегодня последний день лета, первый день осени. День равноденствия природы – день, когда уравниваются день и ночь.

Но нет ни дня, ни ночи...

Есть я, безлюдная дача и еще минувшие дни. Как писал Назым Хикмет? «Минувшие дни, придите, выпейте раки[[13]](#footnote-13), опьянейте». Кажется, так. Здесь нет под рукой книги Назыма, чтобы уточнит – пишу так, как осталось в памяти с детства, с тех далеких дней.

Только я, ночь, дача. И еще привезенный мной транзистор.

Из Баку передают ночной концерт. Нармина Мамедова поет песню Андрея Бабаева. Андрей Бабаев давно умер. И Нармина давно не поет, передают старые записи.

Мне вспоминается живущий в Турции мамин старший брат дядя Кямил.

Мама увиделась с братом после сорокалетней разлуки, в 1968 году. Через семь лет после родителей в районе Измира встретился с дядей Кямилом и я.

Берег Эгейского моря, Айвалик, мы сидим на одном из бесчисленных рассыпанных по морю островов, ужинаем, Дядя говорит: – смотри, вот тот остров наш, а тот – греческий, а вот этот – наш.

Мы едим рыбные блюда, мой дядя, его сын, мой ровесник Айдын, молодая жена, на которой дядя недавно женился, и я. Дядина молодая жена обращается к нему «жизнь моя». 65-летний дядя Кямил смотрит на жену влюбленными глазами, говорит: «Она воскрешает меня». Айдын подмигивает мне. Ближний берег – Анатолия, по ту сторону горизонта – Греция. С четырех сторон вокруг нас – Эгейское море – часть Средизем­ного – эти места колыбель античной культуры.

Время заката; золотистое солнце, скатывающееся в воду между перемешавшимися в сумерках турецкими и греческими островами, создает неописуемо прекрасную вечернюю картину. Откуда-то доносится печальная мелодия. Звучат слова переве­денной на турецкий язык французской песни – «У меня рандеву со счастьем»...

Дядя смотрит куда-то вдаль, как будто уставился в неве­домую точку, оставшуюся где-то по ту сторону островов, моря, горизонта, потом неожиданно спрашивает о Нармине. Я удив­ленно говорю:

– Жива-здорова, а ты откуда ее знаешь?

Дядя вздыхает.

– Эх, если бы ты знал, сколько раки я выпил из-за этой девушки, – говорит он.

\* \* \*

Вспомнилось мне и продолжение тех строк Назыма, кото­рые я приводил выше:

Минувшие дни, придите.

Выпейте раки, опьянейте.

Сыграйте песни на свирели,

это тоска убила меня.

\* \* \*

Оказавшись за пределами родины, дядя долгие годы ловил по своему радио Баку и ставил перед собой бутылку раки. Нармина пела азербайджанские песни, и дядя опрокидывал рюмку за рюмкой.

Нармина больше не поет. То, что передают по радио, – лишь старые записи.

И дяди Кямиля нет. В один из ста дней между папиной и маминой смертями из Турции пришла весть о его кончине.

Все трое – папа, мама, дядя Кямил – не узнали о смерти друг друга.

\* \* \*

Улицы Бузовны совершенно пусты, тихи. Как будто у зноя оглушающий звук, а с наступлением прохлады и звуки прити­хают, угасают.

Берег безлюден, поселок спокоен, автобусы, едущие в Баку, появляются нечасто. И к тому же с редкими пассажирами.

Полтора года назад в такой же тихий спокойный мартов­ский день, простившись с Бузовнами, мы поехали в Мардакяны.

Проводили папу в его палату, поручив его тамошним врачам, медсестрам, вернулись в Баку.

Всех нас беспокоило мамино состояние, врачи вели себя как-то подозрительно, не говорили ничего определенного по поводу анализов. Маму должен был посмотреть видный специалист в области онкологии Наджаров.

29 марта я поехал в Мардакяны навестить отца. Состояние его было неплохое.

Папа сказал, что написал несколько стихотворений:

– Перепишу их, в следующий раз передашь в журнал Азербайджан», Акрему.

Потом сел, написал письмо, сказал:

– Отдай Нигяр.

То письмо теперь у меня.

«Прекрасноокая Нигяр-ханым!

Посылаю тебе мардакянский привет. Я чувствую себя хорошо. Единственное мое беспокойство – о тебе. Доктор Алиев говорит, пусть Нигяр-ханым приезжает сюда, мы за три дня сделаем ее совершенно здоровой. И правда!

Каждый День о тебе спрашиваю. Не скучай, верю, что скоро увидимся. Целую.

Расул.

29. III.81 г.»

На протяжении долгих лет он написал маме сотни писем из Москвы, с фронта, из Тавриза, а когда-то, в юные годы, и из самого Баку. У него есть и поэма «От тебя – тебе», навеянная их перепиской.

А это письмецо с ладонь величиной стало последним.

30 марта Наджаров осмотрел маму. Она не знала его в лицо, фамилию мы тоже скрыли, выдав его за другого врача. Мамина родственница Эльмира Рафибейли работала вместе с Наджаровым и тоже пришла в больницу.

– Как это получилось, что вы так поздно спохватились? – сказала мне Эдьмира в коридоре. – Последняя стадия рака. Поздно, ничего нельзя сделать.

А как мы могли спохватиться раньше, мы ведь не врачи...

Сколько времени уже мама находилась в больнице, под наблюдением врачей. Папины лечащие врачи время от времени осматривали и маму. Как получилось, что и они не заметили вовремя?

Но какой был смысл в этих запоздалых претензиях?

– Может быть, повезем в Москву? – сказал я.

– По-моему, поздно. Во всяком случае, поговорите с Наджаровым.

Вечером я позвонил Наджарову.

– Для меня диагноз однозначен, – сказал он, – нет никаких сомнений. Но я понимаю и чувства семьи. Если хотите, чтобы вас не мучила совесть, покажите и московским врачам – После этого решительного приговора Наджаров добавил: – Кто знает, может быть, мы ошибаемся, все возможно – От этих слов шел слабый свет надежды.

В ту ночь я позвонил в Москву, Борису Олеговичу Толокнову – врачу, который лечил маму в 1971 году. Сначала он очень удивился – все-таки прошло десять лет, потом вспомнил, узнал, заговорил приветливо.

– Как быстро ваши врачи ставят диагноз, – сказал он. – Нужны дополнительные анализы, только после этого можно сказать что-то категорическое. В общем, привозите ее в Москву, вылечим...

Эти слова, сказанные, наверное, в хорошем настроении, дали нам надежду хотя бы на одну ночь.

Даже в самые тяжелые минуты человека не оставляет надежда на счастливый исход. Он хочет уверить себя, что, в конце концов, все будет хорошо, не может не быть хорошо. Наверное, в этом ощущении есть исключительно эгоистический, самосохранительный смысл. Это в природе человека.

Смотреть правде прямо в глаза – отвага, храбрость, но и неизбежный самообман, вероятно, вечный закон могучего чувства самосохранения, жажды бытия, любви к жизни.

Посоветовавшись 31 марта, мы с сестрами решили завтра же – то есть 1 апреля – повезти маму в Москву.

31-го весь день мы занимались доставанием билетов (с мамой должны были отправиться я и Фидан), подготовкой места в Москве и прочими организационными вопросами. Маме пока ничего не говорили.

Только утром 1-го, придя к ней, я сказал:

– Готовься, вечером едем в Москву. Я поговорил с твоим любимым доктором Толокновым, он обещал за неделю тебя вылечить. - Мама была ошарашена. - Ты помнишь, в каком состоянии был тогда Расул? В Москве он поправился за десять дней. Теперь ты тоже хочешь довести себя до того же? Чем раньше поедем, тем быстрее поправишься...

– Ну что ж, – согласилась она и тотчас дала распоряжение дочкам, какую одежду взять из дому, что принести.

А я с мужем Фидан, Рауфом Везировым, направился в Мардакяны – надо было в насколько возможно мягкой, осторож­ной форме сообщить отцу, что мы едем в Москву.

Примерно к часу дня мы с Рауфом приехали в Мардакяны. О поездке в Москву заговорили не сразу. Сказали, что Нигяр чувствует себя хорошо, но боимся, что здесь лечение поведут неправильно, поэтому поговорили с Толокновым, он посовето­вал привезти.

Мы пока в общей форме говорили о возможности поездки в Москву, но отец сразу насторожился.

– Скажите правду, что-нибудь серьезное?

Мы беспечно рассмеялись.

– Да нет, что ты, ничего серьезного нет, – сказал я, – пом­нишь, ты здесь сколько мучился, а в Москве тотчас поправился. Болезнь надо лечить сразу.

Чтобы отвлечь его, Рауф сменил тему разговора.

Отец как будто ничего не слышал. Его прозрачные, ясные голубые глаза смотрели прямо в мои.

– Скажи правду, что с Нигяр?

Я повторил свои небылицы, стараясь выглядеть убеди­тельным.

Время шло, мы должны были возвращаться в город; надо было готовиться к поездке, в шесть поезд уже отправлялся.

Когда мы направлялись в Мардакяны, и Тарана, и Земфира предупредили:

– Не говорите, что едете сегодня. Мы сообщим ему после вашего отъезда.

Кто знает, может быть, так и надо было сделать.

Но я в то время был убежден (и теперь тоже убежден), что если бы он узнал об отъезде мамы в Москву постфактум, он все равно не вынес бы этой вести.

К тому же... Что скрывать, я подумал, что отец должен сейчас поехать с нами в Баку, проводить Нигяр до вокзала. Ведь я чувствовал, что они больше не увидятся.

В общем, я решился и сказал:

– Толокнов считает, что медлить нельзя, поэтому вчера появилась возможность взять билеты, сегодня едем..

– Сегодня? – Он еще больше помрачнел.

Рауф тотчас заговорил о футболе, отец присоединился к его футбольному разговору. Что-то говорил, но я видел, что в мыслях у него – только услышанное сообщение, он его внутри себя переворачивает с боку на бок, обдумывает, решает.

Вдруг он стал одеваться.

– Я тоже еду с вами в город...

– Дядя Расул, но зачем вам ехать в город? – сказал Рауф.

– Нет, я хочу поехать.

– Хочешь – поедем, – сказал я, – сам увидишь, что ничего страшного нет.

– Кто едет в Москву?

Я сказал.

– А я провожу вас и завтра обратно сюда. В это время в комнату вошел врач, увидев отца одетым, спросил:

– Куда это вы собрались, Расул-муаллим?

– Хочу на один день съездить в Баку. Нигяр едет в Москву, проводить ее...

Врач помолчал, вышел из комнаты, вскоре вернулся с другим врачом. Повторился тот же диалог.

– Давайте измерим давление, – предложил врач. Отец действительно изменился, дыхание стало затрудненным. Измерили давление. Переглянулись. Сказали ему:

– Все же несколько повышенное.

Не помню, какие цифры они называли, но когда я по знаку врача вышел в коридор, он сообщил мне, что давление опасное, и добавил:

– Я не могу взять на себя ответственность отпустить его, вдруг что-то в дороге случится.

Когда мы вернулись в комнату, состояние отца еще более ухудшилось, он тяжело дышал.

Теперь он сидел на кровати в другой комнате, ему расстег­нули воротник. По тому, как бегали туда-сюда врачи, медсестры, было ясно, что состояние предельно серьезно. Делали уколы, приносили кислородные подушки. Я несколько раз видел отца в таком состоянии, поэтому все еще хотел верить, что это пройдет.

Вызвали молодого врача-реаниматора. Я услыхал, как врач ворчит себе под нос:

– Можно говорить такое тяжелобольному? Вон как подскочило давление, теперь, реаниматор, попробуй, выведи его из этого состояния, посмотрим, как ты выведешь.

В комнате отца было теперь семь-восемь человек – меди­цинский персонал.

Мы с Рауфом находились в другой комнате. Я подошел к двери.

Отец смотрел на меня.

– Как ты? – спросил я.

Кивком головы и взглядом он сказал «хорошо». Это было последнее выражение, которое я видел на его лице.

Потом глаза его начали мутнеть, до сих пор я не видел, чтобы у него так мутнели глаза.

Один из врачей взял меня за руку и отвел в сторону.

– Состояние очень тяжелое, – сказал он, – будьте готовы ко всему.

В комнату вошли и другие врачи, медсестры, все бегали, спешили, меняли кислородные подушки, сновали взад-вперед.

Внезапно все как будто обессилели, прекратилось всякое движение, беготня.

Мы все поняли.

Врач, стоявший в дверях, покачал головой.

– Скончался, – сказал он.

Было около двух часов...

Какая-то тишина, темнота

преграждает мне путь,

Вставай!

Кончай!

Я говорю,

Ведь у меня

столько неоконченных дел,

столько надежд, мечтаний

Холодный голос

сжигает мне мозг.

Срок истек...

Кончай.

Даже сказать те слова,

Услышать эти

не будет возможности.

Сколько прошло времени? Десять минут, час, два часа? Вечность?

Время – замерло.

Время – остановилось.

Времени – не было.

Что я делал, что говорил (или не говорил) – не знаю. Кажется, мне давали какие-то таблетки, лекарства.

«Почему, ну почему? Что мы кому сделали, что судьба так жестоко карает нас?» – думал я, бился головой о стену. «Мы до сих пор жили очень счастливо, а теперь судьба мстит за это», – думал я, не мог найти себе места, думал о маме, думал, как теперь будет, что будет с единственной надеждой на ее спасение – с поездкой в Москву, я думал и о том, какое теперь это имеет значение, какой в этом смысл: никак не мог себе представить их отдельную друг от друга жизнь.

У меня в голове никаким образом не укладывалось, что полчаса, или целый век назад, сидевший с нами вот здесь, в этой комнате, за этим столом, беседовавший, листавший свою новую книжку, спрашивавший о Нигяр, надевающий пиджак, завязывающий шнурки туфель человек – для меня самый мужественный мужчина на свете, самый лучший из отцов – мой отец больше не существует, его нет, нет навсегда и никогда больше не будет.

Никакой силой не может быть уже возвращен из ничто, больше никогда, никогда не поговорит со мной, не поделится своими заботами, не рассердится, не порадуется, ничего мне не поручит.

Первым берет себя в руки Рауф.

– Анар, скажи, что нужно делать, куда, кому звонить, кому сообщить.

– Позвони Земфире, пусть девочкам скажет она, позвони Энверу, пусть передаст в Союз писателей, Эльчину.

Сколько прошло времени – один час, десять часов, целый век? В комнате теперь остались мы двое – мой отец и я... Врачи, персонал куда-то ушли.

Я смотрел на укрытое белым тело и думал, что на протяжении его долголетних болезней мама много мучилась с ним, исполняла капризы, не спала, но теперь этой внезапной смертью отец как бы искупил «вину» за невольно доставляемые мучения.

Подобно тому, как у каждого есть своя жизнь, своя судьба, есть и своя смерть, то есть смерть, соответствующая его собственной природе.

Дело не в фортуне, дело в том, что и смерть людей – это последняя точка, завершающая их характер, личность. Отец мог умереть только так – от эмоционального потрясения, от внутреннего шока, беспокойства, нетерпения. От беспокойства за Нигяр.

В разные периоды жизни в определенной степени меня­лась и его натура. В среднем возрасте, а особенно в молодости, он бывал и шумным, и задорным, и бесшабашным, беспокой­ным. А умер так тихо, так деликатно. Без возгласов, криков, без единого звука. Будто бурная музыка завершилась тихим, грустным аккордом.

В последние годы жизни отец почему-то напоминал мне древнюю рукопись, очень ценный пергамент, бесконечно хрупкий, серо-седой от времени, как его волосы. И истаял как-то бесшумно, незаметно, как рассыпается пергамент.

Я не говорю, похороните меня в Гейчайе,

но подальше от лицемерных глаз...

Унесите, похороните меня в реке,

пусть гроб мой покроют прохладные воды.

Пусть не грустят, увидев мою могилу,

те, что полны радости, мечтаний.

Пусть над могилой моей журчат воды,

радуются, смеются люди.

В светлые дни!

А по ночам надо мной пусть

склоняются плакучие ивы,

свесившие в воду свои зеленые волосы...

Сколько прошло времени? Один год? Пять дней? Три часа? Вдруг двери раскрылись настежь, в комнату вошли прибывшие из Баку писатели. Впоследствии Фикрет Годжа описал этот приход в «Реквиеме».

Как причудлива человеческая память – многие подроб­ности того дня я вспоминаю как сон, штрихи тают и пропадают в молочном тумане, но некоторые вещи остались четкими, совершенно ясными. Помню, поэт Габиль вытащил сигарету, потом вдруг взглянул в сторону комнаты, где лежало тело, спросил:

– Курить здесь можно?

– Что за странные слова ты говоришь, теперь что ему до того, куришь ты или нет.

– Прости, Анар, ради бога прости, – сказал Габиль, – я не подумал.

Помню, нянька собирали папины вещи. Желтую папку, транзистор, горсть лекарств - эти лекарства ему были уже не нужны.

Помню, мы долго не могли выехать из Мардакян. Главврач говорил, что без специального разрешения не может выдать тело. Эльчин звонил в Министерство здравоохранения, в ЦК, Совет Министров, никого не мог найти, все были в Академии наук на каком-то совещании.

Наконец главврач согласился выпустить нас с одним условием: тело повезут на машине «скорой помощи», причем не домой, а в больницу лечкомиссии в Баку.

Мы подъехали к больнице на проспекте Нариманова в Баку. Остановились у ворот. Тело моего отца - в машине «скорой помощи», стоящей перед воротами, а моя мама - на расстоянии в сто метров, внутри здания, на третьем этаже.

Мы ждали бумаги с разрешением, чтобы увезти тело домой. Никто не мог нам помочь, Эльчин поехал в академию, чтобы поговорить с людьми, полномочными решать этот вопрос.

Дул резкий ветер. Я сидел в машине - ни слез у меня не было, ни слов, внутри я ощущал бесконечную пустоту. Сердце будто остановилось. Ничего не чувствовал – ни удивления, ни боли, ни горя... Только ожидание, долгое-долгое ожидание. Мы ждали час-полтора, но тот день – самый длинный день моей жизни (действительно, «бывает день дольше века») – был как будто продолжительностью в несколько дней, каждая минута, каждая секунда была будто втрое, впятеро длиннее. Наконец Эльчин вернулся. Необходимые указания были даны. Мы направились к отцовскому ДОМУ.

Наружная дверь раскрыта настежь, от соседей носили стулья, закрывали зеркала, у дверей, на лестнице, в коридоре было много людей, но среди всех этих мужских лиц в тот миг я увидел только лицо моего сына Турала, лицо, оцепеневшее от внезапного и первого в его жизни потрясения...

\* \* \*

Тело положили в той большой комнате, в той комнате, где когда-то, нет, почему когда-то, всего несколько дней тому назад он сидел в кресле, перед телевизором, в пижамных брюках, зеленом шерстяном джемпере. Сидел перед экраном с полузакрытыми глазами.

Стали стекаться люди. Каждого из них я хорошо знаю. Вот входит тщедушный, маленький мужчина Мурват, папин шофер по Энциклопедии...

...однажды Мурват наедине жаловался мне, что отец с ним плохо обращается, ругает ни за что.

...и еще я вспоминаю, как Мурват всегда говорил, вот только бы эта наша книжка вышла (он имел в виду первый том Энциклопедии).

...и еще я вспоминаю, что на свадьбе Тараны Мурват опьянел, танцевал, подпрыгивая, не выходил из круга, заявлял всем: «Меня зовут «Мурват-дьявол», а папа нервничал, говорил: «Совсем опозорился этот несчастный»...

...и с тех самых пор я Мурвата не видел, сколько лет он не приходил к отцу, теперь вот, услышав о смерти, пришел, Подошел ко мне, пожал руку, горько заплакал, сказал: «Много хозяев у меня было, но настоящий мужчина был только он». Пришел профессор Аббас Заманов. ...В 1942 году, по дороге в Керчь, когда их корабль бомбили немецкие самолеты, отец ему сказал: «Найди бутылку», - «На что тебе бутылка?» - «Не твое дело, сказал, найди - найди!»

«Я нашел, принес, он написал письмо, положил в сосуд, потом, крепко-крепко закрыв горлышко, бросил бутылку в море, мол, если с нами что-то случится, может быть, когда-то кто-то найдет эту бутылку... Но что он написал в письме, не знаю».

В годы войны и в последующие годы (сегодня я могу добавить - и в месяцы, годы после 1 апреля 1981 года!) Аббас Заманов был отцу верным другом. И папа любил его, но порой с ним грубо разговаривал, обрывал...

Теперь Аббас Заманов сидит рядом со мной, плачет, смотрит на труп и говорит:

– Хоть бы на минутку встал, как прежде накричал бы на меня...

Входят новые и новые люди, среди них есть и те, кого отец не любил, и кто не любил отца, но странное дело, в эти минуты и они мне дороги, и к ним у меня какая-то нежность. Впрочем, что тут непонятного; ведь и они связаны с отцом, они тоже – звенья цепочки ассоциаций, с каждым из них связаны трудные или забавные воспоминания. Они тоже – определенные страницы, часы, дни папиной жизни – его раздражения, обиды, недовольства. Теперь все эти лица – друга ли, недруга ли – осколки минувшего. Того минувшего, где мой отец жив, радуется, ссорится, перебранивается, мирится.

Прохожу в другую комнату. Фидан говорит мне странную вещь:

– Сперва я думала, что он скончался до вашего приезда. Один, среди чужих, посторонних людей... Потом, когда узнала, что вы были там, рядом с ним, в его последние часы, как будто на душе у меня стало спокойнее,

Эту мысль впоследствии высказал мне и Энвер Мамедханлы: «Как хорошо, что в последние минуты ты был с ним рядом».

«Как хорошо!» – как горько звучат эти слова...

Спрашивают: он сказал что-нибудь перед смертью?

И близкие люди спрашивают, и далекие.

– Увы, – говорю, – ничего не сказал, ничего не мог сказать. Только за пять-шесть минут до смерти сделал жест головой, показал глазами: мол, ему хорошо.

\* \* \*

– Что сказали маме, как объяснили, почему мы не едем в Москву?

– Сказали, что у тебя возникло срочное дело, ты не можешь ехать. А она сказала, на этого Анара совсем положиться нельзя, утром прибегает взбудораженный, говорит, что вечером едем, а потом, изменив намерение, напрочь исчезает...

– Что же нам теперь делать? – говорит Тарана – Когда, как можно будет повезти ее в Москву?

– Теперь это не имеет никакого значения, – говорю я, – все кончено...

Фидан резко возражает:

– Что ты хоронишь ее раньше времени? Она еще жива, и ее надо спасать.

Фидан, конечно, права. После сегодняшнего потрясения она первая взяла себя в руки, у меня все мысли, чувства приту­пились, застыли, заледенели, и сестра, которая младше меня на пять лет, как бы выводит меня из этого состояния прострации: мама пока жива, чтобы продлить ей жизнь, мы должны сделать все необходимое. Но, конечно, ведь есть нечто, чего не знает ни Фидан, ни Тарана, вообще никто, кроме меня, – они не знают окончательного диагноза, врачей, стопроцентного подтвержде­ния этого диагноза Наджаровым.

Кто-то предложил:

– А может быть, вовсе не надо возить ее в Москву, ведь можно вызвать, врача из Москвы?

...Мы – прямо в день папиной смерти – начинаем действо­вать в этом направлении: из комнаты, где лежит покойник, звоним в разные инстанции, чтобы организовать вызов врачей из Москвы...

\* \* \*

Какие жуткие профессии есть, оказывается, на свете! Да убережет Бог от знакомства с этими профессиями. Но точно так же, как невозможна жизнь без смерти, так и люди не могут обойтись без этих «профессионалов».

Гробовщики, могильщики – эти профессии известны, но, оказывается, есть и профессионал, обслуживающий мертвецов, делающий им уколы. Снимать маску с лица усопшего тоже не каждый сумеет – и на это есть особый специалист.

Всех этих людей где-то находят, приводят, какие у этих «служителей смерти» отрешенные лица, или это мне так кажется; узнав, чем они занимаются, я смотрю на них иными глазами. Мне кажется, что в лицах этих людей есть какие-то приметы другого мира, как будто в их ввалившиеся впадины глаз падает холодный отсвет небытия. Как будто эти люди – посредники между нами, живыми, и миром мертвых.

То ли зная это, то ли просто давно познав одиночество своих профессий, пугающей людей, они ни с кем не общаются, молча стоят в сторонке, ждут, закончив свою работу, получают плату и так же беззвучно исчезают. Как будто эти люди знают неведомую никому из нас, непонятную и жуткую тайну смерти.

Поздний час ночи, все разошлись; остались только мы сами.

У всех в голове вертится одна мысль – что делать, как сказать маме, как сообщить ей ужасную весть. Ясно, что в похо­ронах участвовать она не в состоянии – у нее нет сил сделать и двух шагов.

А если так, то допустимо ли к ее тяжелой болезни добав­лять еще и невыносимый груз этой потери? Причем, зная день, час похорон, она не сможет участвовать в них, проведет свой траур в больнице, среди чужих людей. Если есть хоть ничтожная надежда на выздоровление, то разве горе не погасит и тот слабый огонек?

Ну, хорошо, а если не скажем, скроем от нее, тогда что? И как долго сможем скрывать? Как, каким образом? Когда однажды – рано или поздно – она узнает, простит ли нам это?

Старые женщины, благословляя, иногда употребляют такое выражение: «Чтобы тебе не пришлось говорить: «что мне, делать?», «как мне быть?»

Именно в этом состоянии мы были теперь. Не знали, что делать, как быть...

*Тетя Нигяр,*

почему я не сказал тебе:

– Расул умер.

Почему отнял у тебя

право, причитая,

поплакать

над колким, светлоглазым мужем.

Эх, тетя Нигяр...

эх, дядя Расул...

Сама судьба не смогла бы

разлучить вас друг с другом

на этом свете.

Теперь на том свете

как вы найдете друг друга?

Как ты найдешь, тетя Нигяр,

если ты не знаешь о его смерти,

а он – о твоей? Как,

как, тетя Нигяр?

Из памяти еще не остывшего твоего тела

не ушел ведь дядя Расул?

С тяжелой поступью, чуть прихрамывающий

от раны в ноге,

с ханской манерой сидеть,

с мягким, как вата, сердцем,

с острым, как нож, языком,

со светлыми глазами...

Узнай, когда увидишь его,

узнай, тетя Нигяр...

 тетя Нигяр...

тетя Нигяр...

Вагиф Самедоглу написал эти горестные строки потом, но в те дни это была именно наша проблема: мы должны, были решить – сказать или нет?

– Во всяком случае, до похорон пусть не знает, – сказали мы, – дальше посмотрим.

Если бы мы не приходили к ней, она бы что-то заподозри­ла. В эту трудную пору нашей жизни мои сестры проявили чудеса стойкости и выдержки. Я еще раз убедился в том, что женщины обладают куда большей, чем мужчины, волей. К тому же они были достойные дочери своей матери, не теряли самообладания в самых сложных ситуациях. Уже на следующий день после смерти отца они, стерев следы скорби со своих запла­канных лиц, с улыбкой на губах смогли войти в мамину палату, передали ей «привет от папы», выдумали какую-то легенду о причинах моего отсутствия.

В ту ночь, естественно, я не мог сомкнуть глаз. Когда мое сознание на одну-две минуты проваливалось в сон, мне ка­залось, что ничего не произошло и теперь я не во сне, а наяву, и отец мой жив, его смерть – это дурной сон, у меня галлюцинации – и все. Но сразу же, в тот же миг я просыпался и осознавал, что его смерть – не сон, а горькая правда; в другой комнате на столе лежит его тело, а через два дня в этом доме не останется и тела. Эта первая из двух последних ночей, которые он проведет в этом доме, в котором прожил сорок четыре года.

\* \* \*

Наутро мы были заняты сотней всевозможных дел, свя­занных с трауром, похоронами, – возможно, этот древний обычай – заботы, связанные с трауром – мудрое средство спасения для оставшихся. В самые жгучие первые дни потери все эти текущие и важные дела не дают тебе оставаться один на один с твоим горем, думами.

Из Москвы позвонил Акрам Айлисли, выразил соболез­нование, сказал: «Конечно, в такой день мне надо было бы быть рядом с тобой».

Потоками шли телеграммы.

«Глубоко скорблю, получив известия о кончине Расула Рза. Мы потеряли большого художника слова и мудрого человека. Я хорошо знал Расула муаллима. Он был моим сокровенным собеседником многие годы наших встреч. Склоняю голову перед его светлой памятью.

Чингиз Айтматов».

«...Как трудно поверить, что навсегда расстался с жизнью большой поэт, с которым я делил хлеб-соль более полувека, мой друг и брат по борьбе, цели, страстно влюбленный в жизнь, как трудно вынести это тяжелое горе. Имя Расула Рза, большое искусство Расула Рза – вечный, бессмертный символ поэзии, красоты, мужества, – смелости, познания жизни.

Мирза Ибрагимов.

Москва».

«Очень печальная весть дошла до меня. Ушел от нас мой дорогой друг Расул. Глубоко скорблю, жалею, что в эти тяжелые дни не могу быть рядом с вами и разделить горе. Расул Рза не умер, он вечный друг и вечный поэт. Память о нем буду хранить всегда в своем сердце.

Расул Гамзатов. Махачкала»

«Закатилась яркая звезда поэзии народов Востока, остановилось большое, доброе сердце великого поэта и человека. Культура азербайджанского народа понесла невозместимую утрату, а друзья его осиротели. Прощай, Расул, прощай, прощай...

Кара Караев. Москва».

\* \* \*

Нам сообщили, что переговорили с московскими врачами. Вылетают завтра, будут в Баку вечером, после похорон.

Похороны завтра, 3-го апреля, в 16:00.

Вечером в 9 часов республиканское телевидение зачитало некролог. Наутро некролог был напечатан в газетах.

Кроме официального заявления, некролога, соболезнова­ния в газетах были напечатаны прощальные слова некоторых литераторов.

«Я думаю о Расуле Рзе, представляю в своем воображении его светлый образ и нахожу успокоение в том, что мощный талант этого поэта жил и творил на протяжении всей его жизни с одинаковой силой. Он, в истинном понимании этого слова, поэт-новатор и его творчество наряду с тем, что завоевало себе достойное место на вершине советской культуры, так же было тесно связано с азербайджанским национальным колоритом и лучшими национальными традициями азербайджанской поэзии.

...Я нахожу успокоение в том, что в развитии азербайджанской советской поэзии, в обогащении и очищении нашего стихотворчества, есть историческая заслуга творчества Расула Рзы. Его поэзии чужды всякое наивное философствование, надуманный пафос, дешевое восхищение. Эта поэзия рожденная реалиями жизни, окрылена отважной романтикой и нацелена на дальние горизонты...

...Покуда живет наш язык, покуда мы чувствуем духовную необходимость в поэзии Расул Рза будет с нами.

Ильяс Эфендиев».

«...Расул Рза, перед гробом которого мы сегодня склонили головы, является выдающейся личностью нашего народа. Он всегда шел своей дорогой и говорил от души, как в творчестве, так и в жизни. Мы никогда не видели в нем половинчатости. Он был целостным как в словах, так и на деле. Как в ненависти, так и в любви.

Смерть завоевавшего бессмертие своими бессмертными произведениями и личностью могучего творца это не уход в небытие, это еще одно подтверждение его вечности.

Бахтияр Вагабзаде».

«...Расул Рза является одной из вершин современной поэзии олицетворяющей ум, философское сознание, националь­ное существо нашего народа...

... Расул как вчера, сегодня, так и «завтра будет сражаться в первых рядах борцов.

Расул, брат мой! Я не говорю тебе «прощай». Потому что ты и с нами, и с теми, кто придет после нас, будешь плечом к плечу продолжать борьбу во имя человеческого счастья и достоинства.

Аббас Заманов».

Расул Рза был похож на взрастившую его азербайд­жанскую землю. Он являлся редким сокровищем этой земли...

Халил Рза».

2 апреля рано утром я вошел в его рабочий кабинет.

...Если бы мертвецы могли возвращаться назад,

я пришел бы в эту комнату.

Здесь долгую минуту

отдохнул бы...

В эту комнату мы собрали привезенные из Мардакян его вещи. Та желтая папка тоже была тут. Я знал, что его паспорт, документы – в этой папке.

Я должен был взять документы и к тому же хотел просмотреть его последние бумаги – может быть, есть какое-нибудь желание, завещание, которое мы должны узнать непременно теперь, до похорон.

В папке были ручки, электробритва, одеколон, паспорт, медицинская книжка, последние книги, которые он читал, и продолговатая тетрадь.

В эту тетрадь он писал свои последние стихи, именно эти стихи он намеревался послать редактору журнала «Азер­байджан» Акраму Айлисли.

Я начал читать стихи. Это был цикл, посвященный воен­ным годам.

Почему в эти последние дни, далеко от близких, в одино­честве, с неотрывными мыслями о больной жене, он вспомнил и счел необходимым вернуться к тем далеким военным годам, годам своей молодости, в Крым?

Из Новороссийска вышли мы

по направлению к Черному морю.

В ночь на первое число

сорок второго

на старом корабле «Кубань»

путешественники – мои сограждане,

наш путь – без возврата,

От имени Родины

мобилизованы мы...

...Я написал на листке бумаги:

«Черное море. Ночь на сорок второй.

Расул Рза со своими согражданами».

Крепко заткнул

горлышко бутылки

и со словами «удача»

бросил в море...

Читаю стихи и вдруг вздрагиваю, наткнувшись на свое имя:

В воображении своем

вижу в слезах,

со стонами в груди,

с жалобами на устах

мою маму.

Мать матерей!

И еще ту,

что делила со мной все горести, заботы,

мою верную подругу жизни,

опору мою,

мою Нигяр.

На руках матери-поэтессы –

мой трехлетний сынок Анар,

с устремленными вдаль глазами,

С синими

от коклюша губами.

К кому ни подойдет –

убегают от него...

Значит, в эти последние дни, в своем внутреннем мире – в мире воспоминаний, поэзии – я тоже был, оказывается, с ним, в воображении. Но не теперешний, сорокатрехлетний я, трехлетний ребенок. Тот коклюшный ребенок, от которого все убегали...

Комок сдавил мне горло; проглатывая страницы одну за другой, я добрался до последней.

На последней странице было написано последнее стихотворение. Последняя запись полувекового творческого пути.

Под стихотворением была дата: 31 марта 1981 г., Мардакяны. Больница.

31 марта – всего за день до смерти. Последние слова, сказанные всего за день до смерти.

Печальные дни жизни переживаю

из-за болезни,

из-за старости.

Врач говорит: утомилось сердце,

Я говорю:

ты утомилось, мое сердце!

Минувшие дни в моих глазах.

Это мир грез.

Те дни были мне родные,

эти дни — мне чужие.

Дни разные:

мучительные – по эту сторону,

радостные – по ту,

Вот как бывает, оказывается,

В конце жизни.

...И я вдруг со всей наглядностью увидел этот день, этот последний вечер его жизни; без всех нас – без детей, без жены, среди чужих людей, в унылой мардакянской больнице... Сумерки одинокого апшеронского вечера, откуда-то сквозь сизую дымку чуть мерцают тусклые сиротливые огни далеких чужих окон, и он ясно понимает, что это – конец, самая последняя станция его жизненного пути, самые последние метры, и вся его прошедшая жизнь как кинолента проходит на экране его внутреннего мира: война, запечатленные в стихах дни боев и ассоциации всех других дней, и те ассоциации, те впечатления, те сцены, мысли, образы, которые отразить в поэзии ему уже не успеть,

Но, может быть, он думал не обо всем этом, не о прошед­шем, не о минувшем, а о будущем, и в этом будущем – только пустота, мрак, молчание.

Тускло мерцают чужие, холодные, далекие огни, рядом – никого из близких. Если он в здоровые, бодрые, молодые годы с таким трудом переносил одиночество, то как же смог вынести последнее, самое страшное одиночество своей жизни?

Какой чудотворной волей сумел он превратить в поэзию эту бесконечную грусть, печаль, тоску последнего дня, как смог сохранить спокойную мудрость жизненного опыта, целительный бальзам поэзии?

В этих строках – не слабость человека, а мужество поэта.

Не поражение индивида, а победа художника, не капи­туляция личности, а несгибаемость творца.

Отпор пессимизму чудом поэзии.

Человек, обращающийся к поэзии в самые тяжелые, безна­дежные минуты, берет верх и над пессимизмом, и над смертью, и над небытием. Хоть он сам уходит и отчетливо осознает, что уходит, он, уходя, оставляет людям свое слово, мысль.

Вот как бывает, оказывается, в конце жизни...

Ни стона нет в этих строках, ни жалобы, ни протеста. Есть тишь спокойная констатация трагического порядка жизни: вот как бывает, оказывается... В этих строках выражена очень простая истина, высказанная как будто с той стороны, из-за границы между жизнью и смертью, высказанная человеком, как бы перешедшим эту границу; вот каким бывает, оказывается, конец жизни, о котором он так много думал и писал.

Смерть, оказывается, вот такая – тихая, беззвучная, неотвратимая...

*«Вот как бывает, оказывается...»*

\* \* \*

Одно из последних стихотворений я послал в газету «Адабайат ве инджесенет». Мне хотелось, чтобы среди официальных прощальных слов прозвучал и его собственный голос, чтобы и на похоронах прозвучало его никому пока не известное стихотворение.

Будто и теперь, когда его нет, он опять говорит с нами.

3 апреля гроб его был установлен на сцене филармонии. Родственники, знакомые, разные люди сидели в зале. С радио принесли записи – он читал свои стихи, исполнялась печальная музыка.

Я прошел в кабинет директора филармонии Ниязи. Ниязи обнял меня, уткнулся в плечо, всплакнул.

– Сорок два года назад вот в этом кабинете сидел Расул, – сказал он, – вот за этим столом. Был директором филармонии. А я работал художественным руководителем, я сидел в другой комнате. Мы были совсем молодые, такими близкими друзьями были мы в те годы... разве я мог подумать, что однажды вынесут его тело из этого самого здания!

Ко мне подошел Тофик Кулиев.

...Много лет тому назад, еще ребенком, я был с отцом в Москве. В наш номер в гостинице однажды пришел Тофик Ку­лиев. Я впервые видел композитора, чьи песни мне очень нравились. Сам он был совсем не похож на свои песни. Песни его веселые, оптимистические, бодрые, а у самого лицо было усталое, глаза печальные. По просьбе отца он сел за пианино, сыграл свою самую лучшую песню – «Золотое кольцо» на папины слова.

И в дальнейшем он сочинял песни на слова моего отца. По предложению Тофика Кулиева папа написал несколько текстов о Баку. Эти тексты много лет были у Т.Кулиева. Он все говорил, что музыка готова, скоро будет исполнена. Только после папиной смерти обнародовал одну из песен. В передаче, посвященной отцу, в фортепианном сопровождении самого Т.Кулиева ее спел Акиф Исламзаде.

Я не знал эти строчки, не слышал, не читал, но из стихот­ворений сотни поэтов сразу узнал бы папины рифмы: «Гыз галасы – гулаг асыр, хязин олур – бесин олур...»

В день похорон один товарищ сказал мне:

– Не рекомендуется читать то стихотворение на траурном митинге.

– Почему?

– Это пессимистическое стихотворение.

– А разве на траурном митинге надо читать оптимисти­ческие стихи?

Потом этот товарищ задал мне такой вопрос:

– Как ты считаешь, это лучшее стихотворение Расула Рза?

– Не знаю, лучшее или нет, но это последнее стихотво­рение Расула Рза.

Было решено, что на митинге Джабир Новруз во время своего выступления прочитает его. И прочитал. Но...

Одно из основных и, на мой взгляд, самых верных положений философии дзэн-буддизма заключается в том, что истина открывается человеку внезапно, вдруг, неожиданно, как будто в одно мгновение озаряет человека и становится сразу ему доступной целиком, во всей своей глубине.

Джабир Новруз в конце своего выступления на траурном митинге прочитал стихотворение, о котором я говорил:

Уже берег свой показывает

жизненное море.

Что есть на том берегу,

есть ли кто-нибудь, кто принес оттуда

весть

возвратился оттуда?

Ни птицы с крылами как ветер,

ни самолета, ни поезда.

Жизнь – это улица, где одностороннее движение –

железный закон...

…И вдруг я внезапно и ясно ощутил обнаженную остроту истины, Я осознал, что все мои потуги были напрасны. Это стихотворение, возможно, до многих и не дошло.

Именно в те мгновения, в те минуты глубокая и трагическая истина раскрылась перед моими глазами как бездонная пропасть, обрыв.

В одном из стихотворений отец использовал выражение «бремя понимания». «Не упрекайте Искандера, большое бремя – понимать». Но, оказывается, есть еще и большее горе, чем «бремя понимания», – это «горе быть непонимаемым...».

Я родился в цветастое майское утро.

Возможно, уйду январским вечером.

Не покрывайте шелком мой гроб!

Не собирайте толпу на мои похороны.

Положите мою голову на горсть земли...

Я любил эту землю.

Но любовь моя не была

ни картиной, выставляемой на обозрение,

ни драгоценным камнем в кольце,

привлекающим внимание своим блеском.

Моя любовь была любовью –

простой, хорошей...

Когда я умру, не плачьте!

Когда я умру, не смейтесь.

Нет, на что это нужно!

Я при жизни много смеялся,

много плакал.

Но в тот тихий вечер,

оставив меня в доме вечной тишины

и возвратившись обратно,

раскройте, настежь раскройте

окна в моей комнате!

Не зажигайте света.

Тихонько выйдите из комнаты,

выходите так, чтобы не проснулась

тишина...

...Я был бы счастлив,

если бы мог сам нести свой гроб!

Если бы мог избавить свое имя,

память о себе

от написанных речей,

от прохладных вздохов.

«Я был бы счастлив, если бы мог сам нести свой гроб!» – в этих словах выражена вся натура Расула Рза – его гордость, одиночество, упрямство...

Куда шел он, куда нас звал... К какой цели, к каким горизонтам вел за собой молодых поэтов? Тех молодых поэтов, ради которых он был готов на любое самопожертвование, на приобретение влиятельных врагов, на то, чтобы хлебнуть лиха, тех молодых поэтов, которых он находил, открывал, представлял, подвергаясь насмешкам, упрекам, критике? Спустя двадцать другие, в том числе и некоторые из тех, кто в свое время насмехался, кривился по поводу этих попыток, заново «открывали», одобряли, оценивали, приветствовали тех самых поэтов, те самые осмеянные ими самими когда-то стихи, однако «забывали» о первооткрывателе.

Долгие годы сдавливали меня:

то туфли –

иногда длиной, иногда шириной.

То сожаление по минувшему году.

То надежда на новый год.

То давило меня горе, печаль мира,

то резинка носков,

то плотный покров низких облаков,

то писанина,

стекающая с пера невежды...

Мне хотелось разорвать и вырваться

из рамок «можно» – «нельзя».

Сказали: нет, нет!

Укладывайся в правила, каноны!

Соблюдай порядок, обычай!

Пиши сладким языком!

... Окна давили меня,

показывая в продолговатом четырехугольнике

впадину улицы, ограниченную домами...

Зелень моего города

измерена,

заключена в цифры.

Горы, затосковав, вознеслись в небо,

ущелья погрузились в землю.

Тоскует человек

в пределах, рамках.

Летом – в долгие дни,

зимой – в долгие ночи.

Я говорю:

когда умру, сбросьте

в самый глубокий океан меня,

подняв выше облаков.

Пусть хоть последний мой путь,

последнее местопребывание будут просторными.

В последний раз смотрю на его лицо в открытом еще гро­бу, на столь знакомое, родное, любимое лицо, на его прекрасные, мужественные, благородные черты.

Ветерок шевелит волосы, и поэтому лицо кажется живым.

Закрывают гроб крышкой, я больше никогда его не увижу. Увижу на картинах, фотографиях, увижу в кино, на телевизи­онном экране, увижу в своих снах, но вот так – на расстоянии протянутой руки – не увижу, так, чтобы мог погладить рукой волосы, – не увижу.

Никогда. Никогда, Никогда.

Гроб опустили в могилу. Мы бросили на него землю. Уста­новили камень, полили, он исчез под ворохом цветов. Милиция сбилась с ног, освобождая дорогу отъезжающим машинам. Люди постепенно расходились.

Во мне звучали его строки:

Много будет снега или мало, все равно,

придет время,

солнце будет еще ласковей,

еще приветливей,

горы и ущелья будут без тумана,

степи и луга – в цветах.

Ветры задуют мягче.

Каждый год так:

уйдет зима, придет весна.

Одна из этих весен

придет без меня

и уйдет без меня.

Вот так, мир, вот так!

Счастливо тебе оставаться!

Вот так он прощался с миром.

Вот так он прощался с нами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Снова хочу вырваться из черных рамок этих ста дней, хочу хотя бы на время расстаться с печальными воспоминаниями 81 года, вернуться в более далекие годы...

Внутри этой моей повести хочу прожить несколько страниц в Прошлом, – которое больше уже никогда не вернется. Хочу послушать мамин голос...

«Мой Анар!

Сегодня я уже четыре дня как здесь, а от тебя ничего нет. Очень беспокоюсь, почему не пишешь? Все эти вопросы с самого приезда не дают мне спать. Нам здесь очень хорошо, комната у нас прекрасная, Фидан и Тарана весь день на море.

Расул тоже от них не отстает. Я с балкона за ними наблюдаю. Один раз всего искупалась. В общем, мне неплохо. Если бы не было этого гула Черного моря. Очень глупое море, день и ночь грохочет. Умоляю его, дай пощаду, море, подумаю немного, не хочет слушать. Сегодня были гром, молния, море вышло из себя, и Нигяр ханым до утра не могла уснуть. Дверь в нашу комнату и балкон обращены к морю. Из окна видны горы, покрытые кудрявым лесом, вершины гор чаще всего покрыты туманом. И гроза эту ночь сверкала в горах. Днем бывает жарко. Много народу из Москвы и других мест. Но я люблю тебя, тоскую по тебе. А ты, наверное, забыл свою маму. Короче, не буду докучать тебе. Как настроение у Земфиры ханым? От меня ей большой привет. Пусть, если будет охота, напишет мне письмо, узнаю, как вы там живете?

...Не знаю, кто еще есть на даче, кто бы ни был из наших, от меня им пламенный черноморский привет.

...Что еще написать. С нетерпением жду твоего письма, любящая тебя столько, сколько волн в этом Черном море, сколько камней на берегу, сколько листьев в лесу, «позабытая и покинутая».

Твоя мама. 17 июля 1968 года. Гагры».

В тот год я приехал с учебы в Москве на летние каникулы в Баку, жил в Бузовнах, на даче, а папа, мама и сестры поехали в Гагру, в Дом творчества. Написанное с шутливой жалобой выражение «позабытая и покинутая» связано со строкой газели, написанной ею когда-то.

Позабытому и покинутому цветку любви я

подобна,

Уходящей из твоих глаз хмельной грезе я

подобна.

В августе они вернулись в Баку, а я для продолжения учебы уехал в Москву.

«Мой Анар!

Наверное, ты весь день в Москве на ногах, твои маленькие ножки (42 размера) устают. Фидан сказала, может быть, ты в сентябре приедешь, если приехал бы, пожил бы немного на даче. Сад теперь очень красивый, правда, у меня голова очень закру­жена, вычищаю мусор за теми, кто уехал 1-го, варю варенье, готовлю маринованные баклажаны, мою шерсть, каждый день встаю в 6 и ложусь в 22. Работа на чистом воздухе мне не вредна. Расул тут со мной. В общем, как видишь, в моей жизни нет интересных культурных событий. Иногда, выбрав время, читаю книги, это – моя единственная духовная пища. Очень по вас скучаю. Других тревог у меня нет. Как вы? Передай от меня привет Земфире и всем знакомым – Эрлону, Херлону, Нейлону, Цейлону, Драчу, Врачу и т. д.

Целую тебя миллион раз.

Бузовны град. Вилла Р. Р.

Нигяр.

4 сентября, 1963 год».

Одно выражение в начале письма и «знакомых» в конце, которым передаются приветы, необходимо объяснить.

Папа, мама, тети мои всегда мне говорили; ты был очень въедливым ребенком, такой у тебя был неутомимый язык... Выходя гулять, я, оказывается, изводил папу с мамой вопросами: это что? Вон тот – кто? почему? как? и пр., или начинал приставать: возьмите меня на руки». В два с половиной года я однажды долго канючил, а затем сказал маме: «Ниял, возьми меня на ручки, ведь мои маленькие ножки устали».

И теперь словами «твои маленькие ножки 42 размера» мама намекала на те детские речи. В Москве на Высших сценарных курсах среди моих товарищей были грузинский писатель Эрлом Ахвледиани и украинский поэт Иван Драч. Зимой, когда мои родители были в Москве, я познакомил их с Эрломом, Драчом и другими моими товарищами. Их мама и имела в виду, шутливо перечисляя: «Эрлон, Херлон, Нейлон, Цейлон, Драч, Врач».

В тот год я по какому-то делу должен был приехать в сентябре в Баку, однако не смог приехать. Но в те месяцы возник вопрос о приезде папы с мамой в Москву.

«Мой Анар! Если ты хочешь, чтобы я приехала в Москву, ты должен принять нижеследующие условия:

1. Обязательно купи себе зимнее пальто.

2. Купи макинтош или плащ.

3. Неплохо будет, если купишь костюм, туфли.

3-е условие можно выполнить и потом. Но первое и второе – обязательно. Когда они будут выполнены, напиши мне (честно!). Тогда я приеду. Получается, что я приеду увидеть не тебя, а твое новое пальто! Ничего, пусть будет так. Видишь, как важен этот вопрос, что я посвящаю ему целое письмо. Вчера у нас были гости, Земфира тоже была здесь. Все живы-здоровы. В Баку нет ничего интересного. Все то же и те же.

Нигяр. 30 сентября, 1963 год».

\* \* \*

Как это ни тяжело, но я должен вернуться из той теплой осени 1963 года в мрачную весну 1981 года.

3 апреля – в день похорон отца – вечером из Москвы прилетели врачи, их встретил Аббас. Один из них был Борис Олегович Толокнов – в 1971 году в Москве, в Онкологическом центре, маму лечил он, и мама всегда вспоминала его с чувством большой признательности, очень тепло. Когда Борис женился, он пригласил папу с мамой на свою свадьбу – в Грузию; жена его Нателла была грузинкой. Они с удовольствием приняли приглашение, поехали в Тбилиси и потом долго вспоминали эту веселую свадьбу.

4 апреля рано утром мы с Аббасом пошли в гостиницу «Москва» – к врачам. За эти годы Борис изменился – ведь как-никак прошло десять лет.

Он выразил мне соболезнование по поводу кончины отца. Теперь наша единственная надежда – на вас, – сказал я, – десять лет тому назад вы спасли маму...»

И Борис, и его коллега очень чутко отнеслись к моим сло­вам, но я заметил, что Аббас еще вчера поведал им об истинном мамином состоянии на «медицинском языке». Они уже пришли определенному заключению, и, как видно, ничего обнаде­живающего в том заключении не было.

Осознавая это, я все-таки рассчитывал на чудо, – в самых безвыходных ситуациях жить надеждой – в этом и слабость человека, и его сила.

До того как войти к больной, москвичи удалились в одну из комнат, чтобы провести консилиум с местными врачами. Аббас тоже пошел с ними. Я остался в коридоре, не решаясь войти в мамину палату один – ведь в последний раз мы виделись с ней четыре дня назад – в иной эпохе, в иной жизни – там, где был жив ее муж и мой отец.

Я ждал за дверью комнаты, где проходило совещание врачей. – Они там теперь, наверное, рассматривают рентгеновские снимки, знакомятся с анализами, различными показателями, обмениваются латинскими словами и терминами, приближаясь к окончательному общему заключению. А я ждал приговора здесь, и мне казалось, что это ожидание никогда не кончится.

Двери открылись – Аббас вышел из комнаты. Я хотел прочесть приговор в его глазах – ведь Аббас был врачом, и мертвые латинские слова были для него абсолютно ясным понятием: жизнь или смерть.

Аббас пригласил меня в комнату.

Мне указали место, я сел. После казавшегося долгим, но продолжавшегося, наверное, несколько мгновений молчания Борис обратился ко мне:

– Мне не хотелось бы вас огорчать. Но вы должны знать правду. Это скоротечная, токсическая форма рака на последней стадии.

Никогда я с таким трудом не выговаривал слова: язык как будто застрял у меня во рту, двигался с трудом.

– Сколько ей осталось?

– Может быть, месяц или немного больше. А может быть, и меньше месяца...

Я словно щипцами вытягивал из себя слова:

Боли у нее будут?

– Нет, болей не будет, – сказал Борис, и, слава богу, он оказался прав: болей у нее не было.

Во время этого разговора в комнате была молодая врач, она слышала весь диалог – и категорический приговор, и срок.

Я часто видел ее в коридоре. Выходя из комнаты, я обра­тился к ней.

– Прошу вас, проследите, – сказал я, – чтобы в мамину палату никто из посторонних не заходил, чтобы ей не сообщили о смерти Расула Рза.

* Не могу же я стоять у ее дверей, – резко ответила она.

Всего пять минут назад она слышала все – и приговор, и срок. Я не знал и потому не помню ее имени и фамилии. Но лицо ее навсегда врезалось мне в память; это было само по себе симпатичное, красивое молодое лицо – холодный как лед лик черствости, лик равнодушия к чужому горю, лик бездушия...

В мамину палату мы вошли вместе с московскими врачами.

Что за странное существо – человек. Не только в чужих, даже в самом себе как следует не разберешься. Вчера я похо­ронил отца, только что выслушал смертный приговор маме, а в комнату входил улыбаясь, с плоскими шутками.

Мама уже знала, что приехал ее любимый врач Борис Толокнов, которому она очень доверяла, и появление Бориса в палате как будто еще больше подняло ее настроение. Возможно, воспоминание десятилетней давности о болезни и выздоров­лении было ей своего рода поддержкой. Приезд буквально выходившего ее тогда Толокнова успокаивал, обнадеживал ее, вселял надежду на быстрый, счастливый исход этого недуга. Она расспрашивала Бориса о семье, жене Нателле.

* Первого января у меня родилась дочь, – сказал Борис. Мама обрадовалась:
* Что вы говорите? Надеюсь, вчера вы с Анаром отметили это событие?

Маме, было известно, что московские врачи прилетели вчера, как я мог объяснить ей, по какой причине не встречал их, не был с ними. Как я мог ей объяснить, где я был вчера, каким днем в нашей жизни был вчерашний день!

– Куда вас водил Анар? – Мама как будто нарочно допра­шивала их.

Аббас тотчас выпалил:

– В «Караван-сарай» ходили.

Мама рассмеялась.

– Наверное, здорово поддали. Во всяком случае, Анар такой возможности не упустит.

– Да, мы выпили за здоровье дочери Бориса, – сказал я.

– А у меня пятеро внуков, – сказала мама, обращаясь к Борису, – когда они к нам приходят, мы очень радуемся, но когда уходят, мы тоже очень радуемся, – пошутила она.

Потом обернулась ко мне:

– Обязательно отвези гостей к нам домой, правда, дом наш теперь абсолютно пуст. Вы знаете, Расул в Мардакянах, поэтому дома никого нет...

В эти минуты, когда она произносила эти слова, в ее доме, который она считала пустым, безлюдным, запертым, наружные двери были распахнуты настежь – входили и выходили сотни людей.

Борис с большим тактом профессионально и убедительно стал объяснять маме особенности ее болезни: страшного ничего – нужны терпение и выдержка, надо терпеть, держаться, состояние ее будет улучшаться очень медленно. Как только станет немного лучше, пусть она приедет в Москву. Или, может быть, он сам, Борис, через какое-то время снова приедет в Баку – чтобы проконтролировать течение болезни.

– Приезжайте в мае, – сказала мама. – Весной здесь хорошо.

Доживет ли она до мая? Месяц, только месяц, всего один месяц, – стучало у меня в висках.

Врачи начали прощаться.

– Я пойду с ними, – сказал я.

– Хорошо, – сказала мама – Возьми эти фрукты, отвези Расулу.

У ворот больницы я попрощался с врачами. Их будет сопровождать Аббас, вечером проводит в Москву. А я должен вернуться в отцовский дом на поминки.

Борис протянул мне руку, что-то говорил о стойкости, о выдержке, о жизненных испытаниях, какие-то теплые, утеши­тельные слова. С Борисом это была, возможно, наша последняя встреча. Не только друг с другом мы прощались, но и с воспоми­наниями 1971 года – с морозными сумерками Каширского шоссе, со счастливо завершившимся волнением тех дней, со свадьбой Бориса в Тбилиси, с мамиными больничными стиха­ми...

...Там же мы с Аббасом решили, что ничего не скажем девочкам и вообще никому. Правду в семье будем знать только мы – я и Аббас. Аббас сказал мне еще одну вещь:

– Пускай с ней остаются только Фидан с Тараной. Чтобы могли как можно дольше побыть с тетей Нигяр.

Обострение, нарастание ассоциаций, охват ими каждой вещи, всего вокруг, связаны с экстремальными состояниями души – когда мы любим или когда испытываем горе – весь мир попадает в сети ассоциаций нашей памяти – каждая улица, каждый дом, каждое лицо, каждый запах, слово, каждый цвет, каждое дуновение наполняют наше сердце, наше сознание сумятицей воспоминаний. Когда ты любишь, весь мир напоми­нает тебе о твоей любви, когда больно – каждое мгновение, каждая зацепка напоминает тебе о твоей боли.

Расставшись с врачами, я шел пешком, шел от больницы до отцовского дома над Книжным пассажем, и каждая улица, каждый угол, каждая проезжающая машина, каждое выражение на лицах прохожих, каждый доносящийся до меня обрывок разговора пробуждал во мне ассоциации, связанные с родите­лями.

Я спускался по улице Вагифа. Десять лет моей жизни я прожил на этой улице в доме номер 30, куда они – отец и мать – любили ходить в гости. Каждый их приход, каждое сказанное у нас слово, то, как они сидели, как были одеты – все-все, одно за другим проходило перед моими глазами.

Я шел по Коммунистической: вот здесь, на месте сквера Сабира, когда-то стояло здание, и в этом здании размещался Дом просвещения, и когда-то, именно в этом помещении, в начале 30-х годов Расул Рза и Нигяр Рафибейли познакомились друг с другом.

Спускаясь вниз по Коммунистической, прохожу мимо Низами; в музее выставлены их книги, висят их портреты. О чем я думал, что перечувствовал, вспомнил в эти 25-30 минут пути, наверное, об этом я мог бы написать пять – десять томов. Но такая книга была бы обо мне – о моих чувствах, мыслях.

Я же теперь пишу не о себе – о них.

– Ну что; что они сказали?

Как только я вошел в дом, все набросились на меня с этим вопросом. И нетерпение было в этом вопросе, и надежда. И тоска, ожидание доброй вести после тяжелой утраты. И может потребность обмануться, стремление найти утешение в сладкой лжи.

– Все не так безнадежно, – говорю я, причем говорю так решительно, что чуть ли не сам готов поверить в собственную ложь – Пока трудно сказать что-то определенное, но думают, что если будет проводиться интенсивное лечение, будут применены новейшие препараты, которые пришлют из Москвы, – удастся спасти ее.

В покрасневших, распухших от четырехдневных слез глазах вспыхивает искорка надежды.

Когда, раздаешь надежду другим, перепадает ли и тебе самому кусочек от самой надежды? Кто знает...

«Мой Анар! Хоть ты меня и не любишь, писем не пишешь, по телефону не звонишь, я все равно тебя люблю. Хотя бы поздравил меня с 40-летним юбилеем журнала «Азербайджан гадыны» («Женщина Азербайджана»). В общем, очень ты неверный парень. Этим моим письмом я хочу попросить тебя сделать несколько вещей. 1. Расул отдал мою книгу Регистану в «Советский писатель». Мехти Гусейн дал им письмо, чтобы включили книгу в план. Ты проследи за книгой, чтобы не была «беспризорной». Там между делом она может пропасть, а я составляла ее с большим трудом. Чтобы тебя не утруждать, здесь все напечатала; разложила. 2. Переводы трех стихотворений в книге – «Журавль», «Восемь пятнадцать», «Свадьба» даны в двух вариантах. Какой перевод редактор книги сочтет лучшим, тот пусть и останется. 3. Объем книги 2300 строк, если это много, можно убрать ряд старых стихотворений.

Мой Анар, не знаю, будет ли у тебя время заняться этим делом. Во всяком случае, прошу тебя, выдели немного времени и для этого дела! И передай мне ответ издательства. Если что вам понадобится, напишите, я вышлю. Земфире передай привет. Пишите письма, не забывайте.

Целую.

Письмо напиши на машинке.

Твоя мама. 23 ноября 1963 года, Баку».

«Мой Анар! Я. поздравляю тебя с днем рождения, при­жимаю к груди, крепко-крепко целую. 26 лет назад тебя не было, я была одинока и беспомощна... Потом ты появился на свет, принес невообразимую радость, надежду и смысл моей жизни. Спасибо тебе, мой сын, друг и товарищ. После этого лири­ческого вступления перехожу к прозаической части; если ты прочитаешь нижеследующий стишок, у тебя возникнет опреде­ленное представление о моей духовной жизни.

Если долму сверну – хорошо.

Чай налью – хорошо.

Стихи напишу – хорошо,

Бозбаш варить поставлю – хорошо!

Чай Тарана нальет.

Долму Фидан сварит,

Стихи Расул напишет.

Нигяр останется базар!

Вот видишь, какими значительными творческими делами я занимаюсь. В общем, сегодня мы получили твое поздра­вительное письмо к 8 Марта, от имени женщин дома я тебя благодарю. Расул еще в Киеве. Я написала ряд стихов, собираюсь дать в июньский номер «Азербайджана». Если смогу, может быть, в апреле приеду. Очень по тебе скучаю. Зима в Баку в этом году затянулась, холод просто извел нас. Все родные живы-здоровы. По сравнению с прошлыми годами у меня в этом году с сердцем неплохо. Пока чувствую себя хорошо. Возможно, потому что дел дома много, даже времени не остается подумать о себе. Мой Анар, у каждого на свете есть какая-нибудь страсть, у меня только труд, я с очень малых лет привыкла трудиться и теперь не могу оставаться без работы. Часть моей жизни прошла за письменным столом в переводах или редактировании толстых-претолстых книг, а когда сердце подкачало, я перешла на кухню, за плиту. Я даром хлеб не ела. Если бы я умерла за корытом с бельем, или у плиты, или за письменным столом, то считала бы себя самым счастливым человеком. До сегодняшнего дня ни для кого не была обузой и после этого не хочу быть. Поверь, что слова эти искренни. Не знаю, по какому поводу я тебе это пишу, но вижу ироническую улыбку на твоем лице. Если это неуместный разговор, извини. Земфире большой привет.

Целую крепко-крепко.

Твоя мама.

10 марта 1964 года. Баку».

Не знаю и, наверное, до конца своей жизни не узнаю, пра­вильно ли мы поступили, скрывая в течение ста дней от мамы смерть отца?

Что дало бы маме известие об этой потере? Горе, муки, скорбь, слезы – к тому же не дома, а в казенном здании больни­цы, среди чужих стен, под одной крышей с чужими людьми переживала бы она свое горе. Домой врачи ее не отпустили бы, а на могилу тем более...

Но ведь есть и другая сторона: три месяца она лежит тяжелобольная, как же так, Расул ни разу не нашел возможности навестить ее. Расул, который обычно так нетерпелив – только эту обиду не унесла бы с собой в могилу мама.

Горечь осталась в ее сердце. Как и всеми другими го­рестями, которые она на протяжении жизни скрывала от всех в глубине души, и этой она не поделилась ни с кем.

Снова тысяче горестей души исцеленье

не найдется,

Доносящего мое горе любимому

не найдется.

В сумерки, которые по вечерам

на пылающие небеса

опускаются,

Огонька, освещающего дом моей души,

не найдется.

У влюбленных спросила, сказали:

о, несведущая,

Разве ты не знаешь, что

Больнее скрытой раны рана не найдется?

И я не раз испытывал горькую истину этих слов.

И в самом деле, «больнее скрытой раны рана не найдется».

1 апреля мы сказали: пока Нигяр не скажем, подождем до похорон.

Потом сказали: подождем, что посоветуют московские врачи.

Потом решили: подождем сороковины Расула, пусть и состояние Нигяр немного улучшится.

Так, день за днем, мы тянули, оттягивали час сообщения ей правды. Ведь никто из нас, даже наедине с самим собой, не хотел признать, что состояние мамы больше не улучшится, она никогда не поднимется со смертного одра.

В апреле и мае болезнь вначале была не очень тяжелой, и мне казалось, что известный мне беспощадный приговор мои сестры не знают, поэтому, когда я говорил: «Подождем, пусть стояние ее немного улучшится», в этом предложении, во всяком случае, для всех других какого-либо обмана не было. Но я-то ведь знал – остался месяц, всего лишь один месяц, на три, две, меньше, на пять дней больше, но все равно один месяц, один-единственный месяц.

И разве можно было отравлять этот единственный месяц, последний месяц ее жизни, и без того проходящий в схватке с тяжелой болезнью, трагической вестью превратив его в безысходный ад?

Мне кажется, что, скрыв от мамы правду, мы поступили правильно. Гуманно. И даже, может быть, честно.

Если бы судьба любого из них поставила в наше положение, поставила перед выбором, как нас, они и сами поступили бы так же – в этом я убежден.

Мы поступили правильно. Милосердно. Если бы мы раскрыли правду, не только этот один, последний месяц ее прошел бы в страшных муках, но, возможно, и сам срок отпущенных ей дней сократился бы наполовину.

Мы поступили правильно. Справедливо. Разумно.

«И все же... все же... все же...»

История с матерью для меня была более жестокая в своем трагизме ситуация, чем конец отца. Папа болел долгие годы, огонек его жизни едва теплился, как слабый язычок пламени, трепещущий от любого ветерка, этот огонек, этот свет мог погас­нуть каждое мгновение. Но у этого угасания не было категори­ческого беспощадного срока, точной календарной даты. Каждое мгновение – это означало и завтра, и через месяц, но также и через год, и через пять лет... Пути выбора мишени смертью неисповедимы: если, скажем, отец прожил бы пять ли, десять ли дополнительных лет – то, как знать, кто кого хоронил бы – я его или он меня?

Болезнь приговорила отца к смерти, но день, час этой казни, время исполнения назначены не были – условный жизненный паспорт его был бессрочным.

Мамин срок жизни был определен жестко и точно – один месяц. Всего один месяц. На три дня больше, на пять дней мень­ше – но один месяц, всего один месяц... что может быть невыно­симее – знать, что в течение месяца обязательно, непременно, неизбежно, неотвратимо потеряешь самого близкого человека, и сделать с этим ничего не в состоянии. Ты ничего не можешь, ничто ни в твоей власти. Смертный приговор обжалованию, апелляции не подлежит. Неминуем.

...Я теперь с полной ясностью осознаю ежедневный ужас приговоренного к смерти. Вот приговор, наверное, будет при­веден в исполнение этой ночью, или завтра, или послезавтра, но непременно в ночное время...

Так и случилось. Ночью...

Утро – это надежды. Хотя отец скончался в полдень, днем я почему-то не беспокоился за маму.

Откуда-то мне в сердце запало, что она простится с миром обязательно ночью...

*Во сне...*

Во сне я прощалась с миром,

Мир был прекрасен, расставание трудным.

Говорят, хорошо, состарившись, умереть -

Таков закон слепой природы.

Все равно, с миром расставаться очень трудно.

Рано ли придет, поздно ли заберет смерть.

\* \* \*

Из разных мест, от разных людей, знакомых и незнакомых, мы получали много писем, телеграмм. Приведу здесь некоторые из них.

«Дорогой Анар муаллим! Сегодня мы грустим вместе со всей литературной общественностью, всем Азербайджаном и Вами. Смерть Расула Рза образовала пустоту, которая никогда не заполнится, не только в нашей литературе, но и во всей нашей духовной жизни. Смерть – нет, это ему не подходит. Расул муал­лим томами своих книг живет и будет жить в наших сердцах. Расул Рза – полководец не только азербайджанской советской литературы, но и всей восточной литературы. Писать о нем – дело не такого малограмотного человека, как я. Но сердце шепчет такие добрые слова о Расуле Рза, каких нет пока, как видно, ни в каком языке, а может быть, и не будет вовсе. Я достал граммофонную пластинку с голосом Расула Рза. Мама просила заводить ее каждый день до его сороковин. Хотя мама читает только латинские буквы, большинство стихов Расула Рза она знает или наизусть, или их содержание. Расул Рза в истинном смысле слова большой корабль азербайджанской литературы, ее качественная горная вершина. Что вам сказать? Если найдете возможность, прошу вас написать мне письмо и послать хотя бы маленькую рукопись поэта. Желаю вам, семье, лично маме вашей утешения и долгой жизни.

С уважением Тапдыг Алханов.

Лачинский район, село Горчу, 10. IV. 81».

 «Уважаемый Анар Расулович!

Примите мои самые искренние соболезнования по поводу кончины Вашего отца, замечательного советского поэта, певца Азербайджана, С Вашим отцом я встретился в начале 30-х годов в Баку, работал на кинофабрике Азеркино, а позже в Москве и сохранил о нем самые теплые воспоминания как о литераторе и человеке.

Дружеский привет всей вашей семье. От опечаленного читателя и сверстника покойного поэта.

Александр Крон. 11.IV. 81. Москва».

«Дорогой Анар. Поэзия Расула похожа на гигантскую реку, текущую по нашей земле. Сердце Расула смолкло. Жизнь песни Расула так же долга, как жизнь нашей земли. Он, как вулкан, рассыпав все созданное по поверхности земли, унес вглубь земли пламя своего сердца. Потеря Расула невосполнима. А утешение – в вечности его искусства. Выражаю соболезнование тебе, всей вашей семье, всем любящим искусство Расула.

С глубоким уважением склоняющий голову перед лич­ностью Расула, искусством Расула

Мамед Араз».

«Уважаемый Анар-бек!

Полученное сегодня от Аббаса Заманова бека письмо повергло нас в грусть и скорбь. Весть о кончине Вашего отца Расула Рза бека очень расстроила, опечалила и нас.

Примите наше соболезнование. Да упокоит бог душу покойного. Сочувствуем и желаем вам терпения, делим с Вами горечь утраты.

Мое самое глубокое уважение, мой эфенди.

Али Явуз Агпинар Эрзерум. Турция. 17.IV. 1981».

«Здравствуйте, Анар!

Несколько дней я читаю 1-й тома нашего покойного на­родного поэта Расула Рза... Читаю... Думаю.

Я впервые близко видел Расула Рза, когда учился в X клас­се в Нахичевани. Слушал его стихи. Ах, какое чуткое, большое сердце у настоящего поэта.

Я всегда любил мужественных художников, у которых свой голос и своя судьба.

...Не могу поверить, не хочу верить, что художник покинул мир. Разве можно отделить от души сердце, привязанное к людям?

Жизнь человека... Судьба человека... Слушаю наш древний «Сейгях», песню «Мать»...

«Книга моей матери» незабвенного Мирзы Джалила и стихотворение «Книга моей матери» Расула Рза, и гора, оказы­вается, может плакать с горькими рыданиями...

Утешение находим в том, что есть Мирза Джалил, есть Расул Рза. Как хорошо, что они есть. Слава художникам, связан­ным с народом! Они наша надежда, вера, наше сегодня, завтра!

Наш уважаемый писатель Анар, в ваши самые тяжелые дни я называю Вас другом. Наверное, Вы сочтете меня правым...

Расул Рза всегда в нашем сердце, в нашей душе!

С горькой, мучительной грустью Ваш друг – читатель, всегда верный литературе.

Муса Гулиев.

27.4.81. Вечер. 11.00 часов.

Ветреный день.

Нахичеванская АССР, Бабекский р-н,

село Беюкдюз».

«С великой печалью слишком поздно узнала о кончине вашего друга Расула Рза. Дорогая Нигяр-ханым, примите мое искреннее соболезнование. Берегите себя, жизнь и поэзия требуют от вас еще сил и мужества.

Ваша Зульфия.

Ташкент».

В далеком Ташкенте узбекская поэтесса Зульфня знала о кончине Расула Рза. В Баку азербайджанская поэтесса Нигяр Рафибейли была в неведении относительно утраты друга жизни.

\* \* \*

Через неделю я вышел на работу. В киностудии мы начали очень тяжелую работу – по заказу Центрального телевидения должны были снимать двухсерийный фильм «Узеир Гаджибеков». Сценарий написал я, сам же был и режиссером.

Режиссерский сценарий был утвержден, прошли актер­ские пробы, строились декорации. Одним словом, заканчивался подготовительный период, близилось время начала съемок.

Я знал, что теперь мое единственное спасение – эта рабо­та. Ничто другое – ни семья, родные, друзья, ни письменный стол, не спасли бы меня от разверзшейся бездны отчаяния и одиночества. Только сумбурный мир кино, сутолока съемок, стихия бестолковой суеты, возникающей каждый час, различные организационные, административные, производственные проб­лемы – хаос и неразбериха студии могли отвлечь и, значит, спасти. Только этот рабочий процесс без начала и конца мог заполнить целиком и полностью мой день, так, чтобы не оставалось места никаким иным чувствам, иным думам, воспоминаниям. Только бы не оставаться наедине с самим собой.

Дни заполнены до отказа. Но ведь у дней бывают вечера.

А после вечеров неизбежно наступают ночи...

...и начинается совершенно иная жизнь.

Ночная жизнь. Жизнь ночи.

Есть в этой жизни часы бессонницы. Но есть и сны, сновидения.

...а в этих снах – все иначе.

После папиной кончины мне говорили, теперь он каждую ночь будет приходить в твой сон, будет вести с тобой долгие разговоры. Но со дня смерти до сороковин я всего три раз видел его; в последние годы он и в гости домой ко мне приходил так же редко – раз, два в месяц.

Когда я первый раз увидел его во сне, он поднимался по лестнице своего дома, и на лице было столь знакомое мне выражение – мудрая усталость, с задумчивой грустью глядящие на мир глаза. И мама – во сне оба живы – мама тоже с ним.

И во сне я думаю, вот сейчас они поднимутся по лестнице, войдут в дом, увидят признаки траура. Надо поскорее привести дом в прежнее состояние, чтобы не оставалось следов поминок.

Мы с сестрами быстренько приводим дом в порядок, но времени не хватает, папин кабинет убрать не успеваем. Мы боимся его расспросов: почему закрыта дверь его кабинета, почему перед ней поставили диван. Боимся, что он, отодвинув диван, откроет дверь, войдет в кабинет и увидит там свою собственную посмертную маску.

Через некоторое время я увидел отца во сне второй раз. Оператор, который должен был снимать фильм «Узеир Гаджибеков», снял похороны Расула Рза. На студии он показал мне этот материал – я как будто снова пережил тот роковой день: филармония, траурная процессия, митинг и в гробу мой отец – легкий ветерок шевелит его волосы.

А ночью я увидел эти кадры во сне, но во сне все это было только путаницей, какой-то ошибкой. Хоть он и лежал в гробу, но не был мертвым; он был живой, и все эти похороны какое-то недоразумение, нелепость. Вот сейчас я проснусь, встану, стряхну сон и увижу отца живым и здоровым. А просыпаясь, снова его теряю.

Третий раз я увидел его в мае, накануне сороковин. И он впервые заговорил со мной, ответил на мой вопрос.

– Как ты?- спросил я.

– Как я могу быть, – обиженно проговорил он. – Без тебя...

Днем я смотрел хронику, связанную с Узеиром Гаджибековым, у гроба Узеир-бека в почетном карауле увидел отца, и еще я знал, что над гробом Узеира Бюльбюль пел романс «Сенсиз» («Без тебя»).

Из всех этих ассоциаций, грустных воспоминаний, горь­ких впечатлений, печальных образов сон выстроил причудливый сюжет, жуткий диалог и демонстрировал мне на экране дрем­лющего сознания.

– Как ты?

– Как я могу быть? Без тебя...

\* \* \*

Как близки друг другу кино и сны. Из всех искусств – кино, и особенно современное кино, самое близкое к снам: разбросанность наглядных видимых образов, непоследова­тельность монтажных отрывков, странный строй разрозненных, алогичных ассоциаций и еще необычный свет, освещение.

Почему мы так пугаемся ночных кошмаров? Даже тогда, когда мы видим самые обычные картины – улица, абсолютно пустая городская улица, и мы в одиночестве шагаем по этой безлюдной улице. Что же в этой картине нас страшит, заставляет цепенеть от ужаса? Свет на улице, да, именно свет. Не тьма как тьма, не лунный свет как лунный свет, не ночь как ночь.

Улица освещена серо-голубоватым цветом. Пепельно-голубоватым цветом смерти.

Это и пугает нас. Порой во сне же мне кажется, что это – цвет иного мира, «того света». И этот свет «того света» просачи­вается в наше сознание, струится в наш внутренний мир из «мира мертвых».

Кино и сон.

Закрываем глаза – погружаемся в мир тьмы, видим цветные и черно-белые сны.

Входим в непроглядно темный зал, смотрим на экран, видим цветные и черно-белые фильмы...

\* \* \*

В эти дни я боюсь и музыки. Сколько мучительных ас­социаций в музыке. Какой-нибудь мотив, напев, обрывок мелодии крючком может вытащить столько минувших дней твоей жизни... Может столь многое зацепить в памяти...

Если ты прожил вместе с близкими людьми больше сорока лет, то все мелодии, все мотивы на свете будут напоминать тебе определенный момент, год, день, час в общей вашей жизни. Жизнь, прожитая вместе с близкими людьми, это накопление, нарастание ассоциаций, охват ими всего мира. Улицы, дома, книги, люди, слова, голоса – все, все пробуждает ассоциации, а ассоциации прошлого бывают вдвойне обжигающе, – минувшие дни – и хорошие, и плохие, вызывают в душе лишь ностальгию. Теперь все в мире для меня – звенья цепочки воспоминаний, пучок ассоциаций, связанных с Ними.

Но музыка в эти дни не только пробуждала ассоциации, она порой и раздражала. Останавливаю на улице машину, еду в больницу к маме или на могилу к отцу. Откуда водителю знать о моем настроении, он включает радио, звучит веселая песенка. А мне кажется, что песня нарочно создана такой пошлой, чтобы щекотать именно мои нервы.

Из открытых окон доносится танцевальная музыка, мне кажется, беспечная жизнь оскорбляет мои чувства, своим равнодушием, безразличием хочет растоптать мои переживания.

Но вот я прихожу на студию, на меня обрушиваются сто разных вопросов, связанных со съемками, а я устраиваю себе перерыв на несколько минут – удаляюсь в свою режиссерскую комнату, плотно прикрываю двери. Будто слушаю музыку и делаю пометки, рассчитываю длительность – метраж арий, одним словом, работаю с музыкой для фильма. А на самом деле я совсем и не работаю и ничего рассчитывать не намерен. Я включаю музыку, но не для того, чтобы с нею работать. Просто сижу и слушаю музыку Гаджибекова.

Как будто на вершине высокой горы, покрытой туманом, льну к хрустальному роднику. Возможно, эти сравнения стары, избиты. Но я действительно не могу найти сравнения, чтобы точнее выразить мои ощущения в те мгновения.

\* \* \*

Откуда пришла мне в голову эта мысль? Не знаю. Но, во всяком случае, однажды, придя к маме в больницу, я принес последние папины стихи и стал читать. Мама, разумеется, не знала, что эти стихи – последние, оставшиеся после его смерти. Для нее они были новым подтверждением, что Расул жив и пишет. Самое странное, что так было не только для мамы, но и для меня самого. Через 15 дней после своей смерти отец снова говорил с нами, как обычно, отдавал на семейный суд свои новые произведения, будто ожидал от нас суждений, мнений. Кому мы должны были высказывать наши суждения, с кем делиться своими соображениями?

Через какое-то время эти последние стихи Расула Рза будут опубликованы в «Азербайджане» и дойдут до читателя.

Пока выходят, читаются, звучат, живут стихи поэта, живет и он сам. И с каждым вновь найденным, до сих пор неизвестным стихотворением покойный поэт как бы оживает, снова говорит с нами.

Собрав всю свою волю, читаю стихи маме.

Это последние папины стихи. Наверное, это и последние стихи, которые слушает в своей жизни мама.

Узнав об этом, сестры стали бранить меня. «Ты зани­маешься каким-то самоистязанием».

А разве сейчас, когда я пишу все это, я не делаю в точно­сти то же самое – не занимаюсь самоистязанием?

Сомненья грызут меня – каков смысл, какова цель этой моей работы? Подробное, скрупулезное описание тяжелых, горьких дней не есть ли смакование горя, культивация страда­ний? Может быть, все это порождено желанием сохранить вкус, ощущение боли, продлить ее, законсервировать в самом себе?

Кто знает. Возможно, и так.

По ночам натиск сомнений становится просто невыносим. Сон, полудрема, явь сливаются друг с другом. Сливаются, перемешиваются, грани их блекнут, стираются, исчезают, и ты сам не можешь ясно осознать, бодрствуешь ты или спишь – сам себя пытаешь: лелеять горе, холить, ласкать его – вот что такое твоя работа, Я знаю, в жизни твоей были и потери, и боль. Но ничто из них не было, значит, подлинным большим горем. Теперь тебе на долю выпало настоящее горе – как другим выпадает счастье.

...И ты хочешь это горе, эту боль сохранить в себе, пере­жить до конца, осознать, понять, проанализировать... Ведь горе - одно из самых больших и изначальных реалий жизни, и, не прочувствовав, не освоив, не пережив его внутри во всей глубине, со всеми оттенками, мы не имеем права сказать: «я познал человека», «я знаком с миром» или даже «я знаю самого себя».

Если это так, то все это самокопанье просто-напросто безнравственно. Разве не честнее сломать перо, сжечь написанное, стереть и выбросить из головы, из памяти подробности тех дней?

Во сне ли эти вопросы, наяву ли?

А ответ где зарождается – в темных глубинах сна или в безвыходных лабиринтах бодрствующего сознания? Нет, – говорю я, – сломать перо, сжечь написанное было бы малодушием. Бегство от памяти – трусость. Не запечатлеть на бумаге что хранишь в памяти, было бы изменой. Изменой им. Как тебе не принадлежала их жизнь, так и смерть их не только твоя. Как и их жизнь, творчество, личность, смерть их есть факт нашей современной духовной жизни, и, зная факты со всей точностью, перенести на бумагу, не скрывая, не утаивая, не выворачивая наизнанку, реальные события – не только мой – сыновний долг, но и гражданская обязанность.

Перед кем же этот долг, эта обязанность? Если вся суть сосредоточена в нашем внутреннем мире, значит, и все, что я знаю, вижу, чувствую, должно так и оставаться у меня внутри, выткать оттуда, как текут невидимые подземные реки. Если нет ничего вне нас, то это и должно остаться во мне, но если все же есть нечто вне нас и вне мира, то разве же оно не осведомлено обо всем?

И то, что я видел, знаю, оно знает лучше, достовернее меня самого. Потому что знает и то, что я не могу знать, видит и то, что я не мог видеть, понимать и то, что мне недоступно. Осведомлено о том, что было до меня и что будет после.

Но ведь вот какое дело; не знать то, что тебе знать не дано, это тоже особая форма знания. Не видеть то, что было до тебя и будет после, — особая точка видения. И потому чувства, раздумья, выводы, порождаемые этим незнанием, не может заменить никакое всезнайство, никакая осведомленность во всем.

...И я прихожу к решению продолжать работу...

И потом, эта работа проистекает от моей глубинной духов­ной потребности: не написав ее, я не смогу написать ничего другого.

Правда, на протяжении этой работы мысль моя, перо мое часто отвлекались от цели. Но что бы, о чем бы я ни писал, два года я – только в этой книге. Вернее, в этой тетради. Станет эта тетрадь книгой или нет, не знаю.

Во всяком случае, я – внутри нее. Я сблизился, сроднился с ней изнутри. Это такое же чувство, как ощущение родного дома. Все другие работы – это поездки по разным местам, дни и ночи, проведенные в чужих гостиничных номерах. Те места, откуда ты однажды непременно возвращаешься обратно.

Обратно, то есть туда, где тебя ждет твой родной дом и родная работа, родная книга.

Книга – твой дом.

Мой дом – моя книга.

Дом – книга. Дом книги.

В стихотворении одного молодого поэта говорится, что Расул Рза с Нигяр Рафибейли жили над книгами. Это дей­ствительно так: их квартира расположена над Книжным пассажем – магазином книг – на третьем этаже.

\* \* \*

Удивительное понятие Дом. Что такое дом без людей, без обитателей, без живых человеческих голосов, дыхания, шагов? Пустота между четырьмя стенами, потолком и полом...

Вместе с тем в те дни их Дом без них – стены, двери, окна, картины, книги, столы, стулья – сами по себе были для меня родными, живыми существами. Сестры тоже говорят, что их все время тянет в этот дом -дом наших родителей, дом нашего детства.

Ассоциации связаны с этим домом тысячью нитей – от плохо закручивающегося водяного крана до оконных занавесок дома напротив, от шелеста чинары, поднявшейся со стороны двора, до книг на полках - мира чтения наших далеких детских лет. От листочка бумаги, исписанного их рукой, до фотографий, охватывающих несколько десятков лет жизни.

Прикосновение к вещам, знавшим их, для нас так же важно: как общение с их друзьями – это теперь единственное средство, отдаляющее момент нашего окончательного расставания с прошлым.

Но нас тянет, влечет в этот дом еще одна причина – есть еще подсознательный самообман. Дело в том, что они часто отсутствовали, бывали в отъезде, подолгу жили в Геокчае, Бузовнах, а последние годы – в больницах Баку и Мардакян. А дом стоял, молча ожидая их.

…Если в какой-то миг отрешиться от действительности, отвлечься от реальности, возникает иллюзия – нам кажется, что мы собрались сюда, чтобы подготовить дом к их возвращению – надо вытереть пыль, растопить печку, поставить на плиту чайник.

А они сейчас прибудут.

Вот-вот, сейчас. Сейчас чайник вскипит, зазвонит звонок в дверь.

Вот сейчас, сейчас...

\* \* \*

Кто знает, может быть, эта книга всего лишь попытка продлить общение с ними, прожить с ними вместе еще немного.

Прожить и все пережить снова. В том числе и потерю их.

Быть с ними, говорить с ними. В день папиных похорон я испытывал странное чувство — весь этот день я ощущал потребность рассказать самому отцу происходящее на этой церемонии, во всех деталях, подробностях, с характеристиками участников. Это могло показаться отцу интересным, и я даже ясно видел его реакцию в отдельные моменты моего рассказа, слышал его реплики. Мне наверняка была известна папина реак­ция на тот или иной поступок, выступление, слово. Определен­ная неорганизованность похорон, наверное, раздражала бы его, вывела бы из себя...

– Ты слышал, что сказал такой-то выступающий? – спрашивал я у отца.

И слово в слово, абсолютно ясно слышал его ответ, то, что он непременно сказал бы...

В дни после смерти отца и установления месячного срока жизни маме, в часы, когда я со всей горечью осознал, что мама – временный гость среди нас, мне хотелось впитать в себя каждое ее слово, каждую мысль, хотелось перенести к себе внутрь каж­дое ее выражение, каждый кусочек ее памяти, каждый закоулок ее внутреннего мира, неизвестного до конца даже нам, самым близким людям. Подобно тому, как кровь одного переливают другому, как здоровое сердце погибшего в катастрофе донора пересаживают другому, я хотел переместить мамины воспоми­нания, внутренний мир к себе внутрь, хотел видеть годы, людей ее глазами – притачав ее угасающую жизнь к своей жизни, продлить ее, сделать ее жизнь моей жизнью.

И теперь, вспоминая ее воспоминания, я чувствую, что приближаюсь к ее видению. Я тоже вижу то, что видела она внутренним зрением в последние дни своей трудной жизни.

Я вижу дом в Гяндже – дом ее детства, в котором она прожила первые семь лет своей жизни, – этот дом стоит и поныне. Я вижу комнаты родителей, комнату ее и двух братьев. Игру с братьями – по ночам закидывали друг друга подушками. Расставание с няней – тетей Настей, воздействие этого расста­вания на детское сердце.

«Потом я пережила много расставаний, но горечь, боль этого первого расставания не забыла...»

«Меня назвали именем рано умершей тети по отцу – Сугры. Но никто не осмеливался звать меня этим именем. В то время была очень знаменита турецкая поэтесса Нигяр-ханым ибн Осман, моя мама Джаваир-ханым очень любила ее стихи и однажды решилась, пришла к моему деду Алекпер-беку и сказа­ла: никто не осмеливается произносить имя той несчастной, разреши, мы назовем эту девочку Нигяр. Дед промолчал, но во время обеда сказал: «Джаваир, принеси вино, выпьем за здоровье маленькой Нигяр».

\* \* \*

Как теперь в моей памяти поселились мамины воспоминания, так и в ее памяти жили услышанные от предков разговоры, имена, события. Прошлое большого рода было связано с именем Рафи-бека. Рафи-бек вроде бы приходился родственником Джавад-хану, то ли он был ему тестем, то ли тот Рафи-беку, мама не знала. И о степени родства между прадедом рода Рафибейли Мирзой Керимом и знаменитым востоковедом Мирзой Казымбеком тоже слышала лишь предположения.

Но некоторые семейные предания помнила очень четко: ее дед по отцу Алекпер-бек, дед по матери Мирза-бек, а также Хади-бек Рафибейли и несколько других гянджинских и карабахских юношей верхом на конях отправились в Петербург получать образование. Они ехали туда девять месяцев, шесть лет учились там, за это время на Кавказ была проложена железная дорога, и они вернулись на родину поездом. Мирза-бек получил военное образование, Алекпер-бек был специалистом по земледелию.

Один мамин дядя по матери – Мамед – тоже в свое время получил образование в Петербурге, примкнул к революцио­нерам. После возвращения в Гянджу вместе со своими едино­мышленниками по ночам печатал тайные прокламации. А отец другого нашего родственника – Эюб-бека – был приставом, по ночам он охранял этих революционеров, чтобы их никто не трогал.

Потом Мамед заболел туберкулезом и, написав про­щальное письмо, кончил жизнь самоубийством.

То письмо осталось маме от бабушки. Мама сохранила его. Теперь это письмо у меня.

У мамы была всего одна тетя – старшая сестра Джавахир-ханым – тетя Гейчек. Тетя Гейчек прожила со своим мужем Мешади Сулейманом сорок лет.

«Иногда я ее поддразнивала, – говорила: тетечка, разве можно жить с одним мужем сорок лет? «Молчи, – отвечала она, – когда замуж выйдешь, из того дома, куда невесткой придешь, должны и гроб твой вынести».

«Очень строгие принципы у нее были, она говорила, муж может изменять жене, это его дело, но жена обязательно должна быть верна мужу. Наш петух пусть на чужой крыше кукарекает, но на нашей крыше пусть чужой петух не кукарекает».

Мне тоже помнится эта маленькая, кругленькая, какая-то очень уютная старушка с белоснежными волосами. Помню, она готовила тонкие как папиросная бумага лаваши.

– Правда, помнишь? – Мама смотрит на меня и улыбается каким-то мелькнувшим в памяти воспоминаниям – Ты прав, очень тонко она раскатывала лаваши. И очень вкусные блюда готовила. А сердце у бедняги было такое чистое, как у ребенка. Глядишь, захотелось мне чего-нибудь из ее блюд, говорю: тетя, я во сне видела дядю Мешади Сулеймана, он заказал долму с виноградными листьями, – мамины глаза смеются, – бедняжка тотчас вставала и начинала сворачивать долму. В отцовском домеее мужа было недвижимое имущество, комнаты. Когда муж умер, продала все за восемьдесят тысяч рублей, все раздала сиротам: «У кого-то детей нет, у кого-то кто-то умер», – оказы­вается, себе место добывала на том свете. Но немного золота оставила, дала мне, сказала: ты должна похоронить меня на мои собственные деньги. И могилу мою не обряжай, сказала она, моя могила должна затеряться.

Она была бездетна, поэтому сделала такое завещание. Она говорила: «Бездетным могилу украшать грех».

\* \* \*

Откуда маме было знать, что и ее мы похороним на том же кладбище рядом с ее бабушкой, матерью, дядей, двоюродными братьями. И тетя Гейчек там, среди них. Но надгробья нет, моги­ла затерялась. По ее собственному завещанию.

Дед моей мамы по отцу Алекпер-бек Рафибейли (1852- 919) пользовался большим авторитетом.

Через много времени после маминой кончины, разбирая ее архив, я увидел одну папку. На папке ее собственной рукой было написано: «Мой дед, папа и мама. Фотографии, документы». В папке лежали различные материалы, бумаги, документы. Как видно, кто-то из наших ученых-исследователей, копавшихся в архивах, переписал два интересных документа и дал маме. Привожу эти документы как есть.

«М.В.Д.

Елисаветполъский

Полицейместеръ

18 июля 1907 г. № 176

г. Елисавстполь,

Совершенно секретно.

Господину Елисаветпольскому Губернатору

**Рапорт**

На циркулярное предписание, от 30 мая с. г. за № 571, доношу Вашему Превосходительству, что, как мною уста­новлено, мусульманские партии «Дифаи» и «Мудафие» сущест­вуют на средства, собираемые нелегально с мусульманского населения губерний. Руководителями первой партии являются елисаветпольцы Алекпер бек Рафибейли и Ахунд Молла Паша Намаз заде...

Партия «Дифан» преследует цель: защиту интересов своего народа вообще и, главным образом, образования, а «Мудафие» - улучшения крестьянского быта вообще, раз­деления помещичьих земель между крестьянами и поднятия культурного благосостояния их путем ниспровержения сущест­вующего государственного строя, а также неплатежа помещикам за землю следуемых доходов, то есть багры. В общем, эти партии преследуют конечную цель одну и ту же.

(подпись)»

Полицейместеръ

Помощник

«Начальнику Тифл.

Губернского Жандармск.

Управл. в Елисаветпольской губернии.

16 января 1909 г.

**№ 161**

гор. Елисаветполь.

на № 1888. 37.

Совершенно секретно

4-го сего января обыском у Алекпера-бека Рафибекова также обнаружен устав, напечатанный в нескольких экземплярах на русском языке; означенные уставы при сем прилагаю, при этом докладываю, что воспитывают ли эти мусульманские общества в духе противогосударственном - сведений не имеется. Относительно же движения мусульман в пользу революционе­ров Персии имеются только следующие указания: в торговой книге, отобранной по обыску у персидского подданного Искендера Мухтарова, имеется указание, что оружие покупается тайным путем в России и отправляется в пределы Персии в отряды Сатар-Хана.

Ротмистр Астросянц

Господину Елисаветпольскому Губернатору».

\* \* \*

Однажды Алекпер-бек повел свою жену Хейрансу-ханым, сестру и сватью Хадиджу-ханым (за своего сына Худадата взял дочь сестры Джавахир) и молодую невестку Джавахир на театральное представление в Гяндже,

Гянджинские гочи, оказывается, сговорились, что убьют любую мусульманскую женщину, которая переступит порог театра.

...И вот появляется высокий, широкоплечий Алекпер бек и рядом три женщины. Толпу как будто мечом рассекают надвое - открывается проход, и по этому проходу все четверо проходят в здание. Мама видела этот эпизод отчетливо в своем внутрен­нем мире, хотя он произошел задолго до ее появления на свет.

Алекпер открыл в Гяндже школы, под видом религиозного медресе обучал там детей и светским наукам.

«Хоть дед мой и был беком, но из бедных беков, поэтому детям бедняков, которых хотел посылать на учебу, говорил: пойдешь к такому-то купцу, я ему поручил, он даст тебе денег, на эти деньги поезжай, учись...»

Еще один документ из папки в мамином архиве:

«Из Гянджи.

Мы уже писали, что сын почтенного Алекпер бека Рафибекова Худадат бек Рафибеков, выучившийся медицине, приехал в Гянджу. В прошлом году вышеуказанный врачевал гянджинских мусульман.

Как бы последователен ни был в своей любви к нации почтенный отец, сын и его превосходит. Худадат бек предоста­вил бесплатное медицинское обслуживание гянджинской бед­ноте и, даст бог, в мусульманской части откроет еще одну больницу.

Слава такому доктору мусульманину!

Радуйтесь, о бедные мусульмане!

Газета «Иршад», 1907 год, № 89, с. 3».

Мамин отец Худадат-бек Рафибеков (1878-1920) был одним из первых азербайджанских хирургов, получивших высшее образование. Медицинское образование он получил в 1897-1902 годах в Харькове. С 1903 года до конца своей жизни- 17 лет – он работал врачом в Гяндже.

Во время провокационного нападения на раненых русских солдат, возвращавшихся с фронтов первой мировой войны, Худадат бек, не разбирая ни дня ни ночи, делал множество операции, спас многих раненых от смерти. Медицинской сестре, ассистировавшей ему во время хирургических операций, советское правительство установило персональную пенсию именно за участие в этом деле. Эта медсестра из России до конца своей жизни, переписывалась с моей бабушкой – Джавахир ханым. В этой маминой папке есть и фотография, относящаяся к тем событиям. Мой дед и медсестра среди раненых русских солдат.

В папке мамы хранится рукопись ветерана Великой оте­чественной войны, живого свидетеля многих событий происхо­дивших в то время в Гяндже учителя Аббасали Керимли. Хочу привести некоторые отрывки из этой рукописи:

«28-е апреля 1920-го года. По городу Гяндже прокатился слух, что в Баку власть перешла в руки большевиков. Сначала в это никто не поверил. Потом в городе началась паника. Люди, собравшись кучками обсуждали услышанное.

Узнавшие о случившемся в Баку, гянджинские большевики собрались в доме Фархада Алиева. Чтобы узнать точные новости Фархад Алиев и Ибрагим Алиев отправились на железнодорож­ную станцию Гянджи. Вернулись они с радостной новостью и сообщили товарищам, что, действительно, власть в Баку пере­шла в руки большевиков.

Поэтому они тоже решили захватить власть в Гяндже в свои руки.

Они послали человека к Худадат беку, чтобы тот сдал власть в руки большевиков.

Вечером во время ужина в доме Худадат бека постучали в дверь. Худадат бек подумал было, что за ним пришли, чтобы он оказал помощь больному. Не доев ужина, он быстро вскочил на ноги, сложив в сумку необходимые медикаменты и жуя на ходу, двинулся к выходу.

– Где больной, куда нужно ехать? – обратился он к пришед­шему за ним человеку.

– Бек, у нас нет больного. Мы пришли сказать тебе пару слов.

– Я вас слушаю, пожалуйста, говорите.

– В Баку власть перешла в руки большевиков. Я пришел потребовать от имени гянджинских большевиков, чтобы вы тоже сдали нам власть.

Услышав это, Худадат-бек смутился:

– Разве власть у меня в кармане, чтоб я, вытащив ее, сказал: вот она, берите? Имеется управление, есть народ, он избрал меня и если он сочтет нужным, я сдам власть народу. Я не получал вестей из Баку. Если мне дадут такое распоряжение, то я сдам вам власть. Я сообщу вам, как только я получу распоряжение.

После этого человек ушел и, вернувшись к своим, рассказал им о разговоре с Худадат-беком.

В тот же день в доме Ибрагима Алиева собрались большевики. Они приняли решение, что, как только получат весть от Худадат-бека возьмут власть в свои руки.

20-го апреля 1920-го года Худадат бек сообщает Ибрагиму Алиеву о том, чтобы тот послал человека, с тем, чтобы обсудить с ним время передачи власти. В этот день Ибрагим Алиев отправился на железнодорожную станцию, чтобы поговорить по телефону с Баку. Принимается решение, что вместо него к Худу беку на переговоры пойдет Махмуд Султанов. В тот же день Махмуд Султанов отправляется в городское управление и, получив разрешение, заходит внутрь. Худадат бек поднимается навстречу ему и недовольно спрашивает:

– Почему вы обманули меня?

Махмуд Султанов, краснея, говорит:

– Когда это мы обманули вас?

– Ваши люди, придя ко мне, сообщили, что власть в Баку перешла в руки большевиков. Это ложь, власть никому не пере­давали. За то, что вы обманули меня, вы будете арестованы.

Махмуд Султанов насмерть перепуганный меняется в лице. Видя его в таком состоянии, Худадат бек улыбается и кладет ему руку на плечо.

– Я говорил с Баку – говорит он – власть действительно в руках у большевиков. Мне тоже предложили сдать власть местным большевикам. Я готов. Когда захотите, приходите и я передам вам дела...

Обрадованный Махмуд Султанов проговорив: «Спасибо, бек» отправляется к своим друзьям и рассказывает им о случившемся. Они смеются и радуются. Принимают решение, что для принятия власти к Худадат беку пойдут Ибрагим Алиев, Ибрагим Аминбейли и Махмуд Султанов. К Худадат беку они приходят в 5 часов.

В это же время в кабинете у городского управляющего в ожидании сидят Худадат бек Рафибейли и его заместитель Гусейнгулу-хан Хойский[[14]](#footnote-14). Как только пришедшие, получив разрешение, входят в кабинет, Худадат бек с улыбкой на лице поднимается им на встречу, очень уважительно здоровается. – Пожалуйста, проходите и садитесь – приглашает он и пока­зывает им место. Затем садится сам и вызывает секретаря, чтобы тот составил акт приемки сдачи. Проверив и подписав оба экземпляра, он рассказывает о положении в провинции, отме­чает, что канцелярскими делами заведовал Гусейнгулу-хан Хойский и денежные дела можно решить с ним. Заканчивает он разговор такими словами: «Народ целую неделю просил меня взять власть в свои руки, я, не видя иного выхода, сделал это. Теперь представители от народа вновь требуют от меня сдать власть. Я, не протестуя против этого, сдаю вам власть на основании этого акта. Если это действительно нужно народу и во благо ему, я согласен, ведь я сам из народа. Теперь я сам нахожусь в вашей власти и готов потратить все свои силы во имя блага моего народа. Как только посчитаете нужным, можете привлечь меня к работе. Бог вам в помощь» и отдает им акты.

Ибрагим Алиев поднявшись, произносит:

– Заседание новоизбранного правительства объявляю открытым. Члены нового правительства встаньте, чтобы почтить память погибших во имя революции.

Все встают, чтобы почтить молчанием память жертв. – Садитесь» – звучит тот же голос и все садятся. В этот момент Гусейнгулу-хан Хойский спрашивает:

– -А что будет со мной?

С места ему отвечает Худадат-бек:

– На этот вопрос вам могут ответить члены нового правительства.

Затем Худадат-бек с улыбкой на лице прощается за руку с сидящими в комнате и уходит домой. После него Гусейнгулу-хан Хойский тоже встает, не подав руки, прощается со всеми и покидает кабинет.

Потом новое правительство в хорошем настроении вновь начинает совещаться и распределяет между собой должности. Принимается решение, что Ибрагим Алиев станет секретарем городского управления, Фархад Алиев будет его заместителем, а Ибрагим Аминбейли комиссаром.

Созданная во время мусаватского правления тайная армянская организация начавшая действовать открыто не признавало новосозданное местное правительство в Гяндже, требовало создать новое правительство и арестовать губернатора Худадат-бека. Все управление армяне взяли в свои руки. Судьба города перешла в их распоряжение. Арестовав Худадат бека, они отвезли его в армянское село. Этот факт отрицательно подейст­вовал на местную организацию азербайджанских большевиков и городское население. Многие решили, напав на дашнаков освободить Худадат-бека. Узнав об этом, Худадат бек запро­тестовал: «Не надо проливать за меня кровь. Они не смогут меня ни в чем обвинить». Габузиян, Термихайлян, Левон и другие, оценив сложившуюся ситуацию, решили отвезти Худадат-бека в Баку, а там уже убить. Худадат бека обвинили в том, что он якобы дал разрешение на то, чтобы азербайджанцы разрушили горные армянские селения и уничтожили их население. Это было абсолютной ложью, клеветой и вымыслом... Наоборот, в то время гарабахские армяне напав на гянджинских солдат, убивали их. Чтобы отомстить местное население рвалось напасть на армянское село. Но Худу бек не дал на это разрешения... Собрав отдельные группы из людей Балабагмана и Большого Багмана, втихаря отправились громить селение горных армян. Услышав об этом, Худадат бек вскочил на коня, пустился за ними и вернул их...

Все городское, население пребывало в страшном возбуж­дении. Наутро, мы отправились в гимназию, чтобы выяснить, когда начнутся уроки. На подступах к железному мосту мы увидели, как 3 вооруженных человека ведут Худадат-бека на железнодорожную станцию, чтобы отправить в Баку... Увидев это, мы отправились уже не в школу, а за ними.

Худадат-бек, как обычно, был в цилиндре, черном плаще, в руках он держал трость и не глядя по сторонам шел высоко подняв голову. В этот момент кто-то, подойдя к Худадат-беку, протянул ему деньги. Худадат-бек сказал:

– Мне не нужны деньги.

Глаза наши наполнились слезами. Мы не сводили с него глаз. Когда мы подходили к кинотеатру один пожилой мужчина сделал Худадат беку знак, что ему организуют побег около сада находящегося между городом и станцией.

Худу-бек, смутившись, произнес:

– Я не пойду на это. Не позорьте меня. Не позорьте наш город, мой род, имя моего отца. Не проливайте кровь. Меня не смогут ни в чем обвинить. Даже если меня напрасно обвинят или посадят в тюрьму, я смогу работать там врачом. Дайте всем знать, чтобы не предпринималось никаких опрометчивых шагов. Я не стану бежать.

За Худадат-беком проливая слезы, следовали знакомые и не знакомые с ним люди. Он не принимал от них ни денег, ни еды. Сначала его вели трое вооруженных, потом армяне прибавили к конвою еще нескольких людей. Дальше народ не пустили. И мы вернулись обратно, проливая горькие слезы.

Чтобы освободить Худу бека в Баку к Н.Нариманову отправились Мохаммед Халилов, Джахангир Нагиев, Джавад-бек Рафибейли и Фархад Алиев. Но армяне без ведома Нари­манова уже расстреляли Худу-бека на острове Наргин. Узнав о расстреле Нариман Нариманов сказал: «Как жаль, что такого известного врача-хирурга как Худадат-бек убили без нашего ведома. В этом деле есть непростительная ошибка Гамида Султанова».

Конечно, потерявшая отца семилетняя девочка не могла знать обо всем этом в то время. Но некоторые эпизоды мама запомнила хорошо. Когда в 1920-м году XI Красная армия пришла в Гянджу, известный Ефремов поселился в их доме.

«За нами пришел гянджинский большевик Джабраил. Моя мама знала его и сразу же предупредила: знай, Джабраил, я доверяю свою жизнь и жизнь детей тебе. Если ты увидишь, что мы можем попасть в руки к армянам, убей нас».

Дети это – 11-летний Кямиль, 9-летний Рашид и 7-летняя Нигяр.

Все трое и моя бабушка остались живы. Нигяр пошла в школу.

В 1927 году в четырнадцатилетнем возрасте мама при­ехала в Баку. «В Баку у нас были родственники. Устроилась на работу в киностудию, переводила титры на азербайджанский язык. Сняла комнату на улице Мирзы Фатали. Иногда приезжала из Гянджи мама повидаться со мной».

После маминой кончины, составляя ее книгу «Если однаж­ды грустным вечером вспомнюсь тебе», я будто заново прочитал некоторые стихи. Одно из этих стихотворений – ранние стихи «Маме». Стихотворение относилось ко времени, когда бабушка ездила из Гянджи в Баку, чтобы повидать свою дочь.

Гаснет зажженная тобой вчера вечером свеча,

Больна я, некому подать мне немного воды, мама.

Вагон качает тебя в этот вечер,

О, путница дальних дорог, мама.

Сжимается мое сердце, горячее дыхание,

Над моей головой нет никого.

Как уголь сжигает мое сердце

Страх больше не увидеть тебя, мама.

«В те годы на нашей киностудии работали Н.Шенгелая. И.Савченко. Начальником Главлита был Дондаров. На студии я получала зарплату 80 рублей. Одна полуграмотная сотрудница выдавала мои переводы за свои, получала 150 рублей зарплаты. Однажды, когда эта женщина заболела, Дондаров узнал об этом. Мне повысили жалованье.

Помню, как-то раз Джафар Джаббарлы и Аббас Мирза Шарифзаде застряли на переводе одной фразы, спорили о том, как эта фраза должна прозвучать по-азербайджански. Я слышала их разговор, но не вмешивалась. А они меня будто и не видели. Я перевела фразу и молча протянула им бумагу. Они очень удивились. Такая грамотная девушка работает всего лишь переводчиком?»

Но и это сочли для мамы чрезмерным.

18 сентября 1930 года в республиканских газетах и даже в выходящей в Тбилиси газете «Заря Востока» вышла большая статья против мамы. «По случайности» стихотворение другого поэта приписали маме, а автор статьи в самых резких выраже­ниях громил семнадцатилетнюю поэтессу.

Автором этой подвальной статьи (какое точное слово!) был Алигейдар Караев. Привожу некоторые отрывки из этой статьи:

«Господин Джавад-бек и его племянница»

Крупный помещик, видный лидер мусаватской партии, один из организаторов похода против Бакинской коммуны, бывший генерал-губернатор Гянджи Худадат-бек Рафибейли был расстрелян в 1920-м году за организацию гянджинского восстания.

После него остались его приемники: жена мадам Джаваир-ханым, дочь мадмуазель Нигяр-ханым и два сына. В этой помещичьей семье произошло незначительное изменение, был убит один лишь глава семьи. Все имущество же Худадат бека – три дома, три дачи и богатый загородный дом остались нетронутыми. Плюс, жене Худадат бека советской властью была доставлены некоторые привилегии. Мадам Джаваир-ханым за счет советских рабочих обучила своих помещичьих сыновей, дала им высшее образование. Один из сыновей получив в 1928-29-м годах высшее образование в Баку, сбежал в Иран и там начал вести работу против советской власти. Другой сын учится в ленинградском политехническом институте. И думается нам, что после завершения высшего учебного заведения он возьмет пример со старшего брата.

Наша главная героиня же это мадмуазель Нигяр-ханым. В настоящее время она работает воспитательницей в одной из бакинских школ, учится в Высшем Педагогическом институте и Консерватории. К тому же она поэтесса! Хотя мадмуазель Нигяр никогда не признавалась бакинским пролетариатом, но она, оказывается, к тому же, знаменита. Об этом хорошо известно в классе, где она преподает.

Но мы не будем копаться в ее «педагогической деятель­ности» в нашей советской школе. Чтобы оценить эту деятель­ность достаточно ознакомиться с плодами ее двухмесячного творчества.

Обратим внимание на неопубликованные стихи, написан­ные в июне-июле 1928 года. Они обращены к тем, кто ждет «восхода солнца с севера».

Нигяр-ханым пишет:

Ей ты...

Что с северным ветром в голове!

Знай, что солнце восходит не на севере!

И никогда не будет восходить оттуда!

Нет необходимости приводить здесь продолжение стихо­творения, так как все оно написано в этом же духе. Стихо­творение заканчивается надеждой на то, что «пламенное солнце, как и всегда будет восходить на востоке».

Мадмуазель Нигяр ханым одна из тех, кто ожидает восхода солнца (прихода английских войск на белых конях) с Востока. Она из тех, кто ждет восстановления помещичьей и капиталисти­ческой власти. Дочь блюстителя английского капитала, помещика Худадат бека не терпит и не хочет примиряться с обогревшими окаменевшие сердца народов Востока яркими лучами красного солнца. Она не сможет увидеть спасительную звезду Севера, что освещая, указывает путь Востоку, освободив­шемуся от угнетения английского капитала.

Не удивительно, что Нигяр ханым часто переписывается с поэтами близкими ей по духу и эти «поэты» считают ее азербайджанкой героиней.

Почему-то мы до сих пор не разоблачили ее и многих похожих на нее, отчего-то до сих пор не сорвали с их помещичьих лиц ложных масок...

...Дочь мусаватского помещика неустанно продолжает путь своих предков. Надевшая маску доброжелательности эта мусаватистская паразитка устроившись в культурном тылу, отравляет своим помещичьим ядом наше молодое поколение.

Не будем более комментировать, так как все и так ясно. Выводы сами расставят все по местам.

Караев.

Оставшаяся часть статьи посвящена разоблачению Джавад-бека Рафибейли.

Я не намерен комментировать приведенные мной отрывки с точки зрения этики, совести, прочих высоких моральных и человеческих категорий, с точки зрения чести и мужского достоинства, чертами, составляющими гордость азербайджанского национального характера. Обо всем этом читатель может сделать вывод самостоятельно. Я просто хочу рассказать о фактической лжи в статье Караева. Ложь начинается прямо с названия статьи. Если Джавад-бек и был родственником моей мамы, он не являлся ей дядей, поэтому она никак не могла быть его племянницей. Хотя Худадат-бек в течение 9 месяцев и работал губернатором Гянджи, но он не был видным лидером мусаватской партии более того, он даже не являлся ее членом) и крупным поме­щиком. Он не организовывал похода против Бакинской Коммуны. Дома и дачи были конфискованы в первые же дни советской власти. Без всякого сомнения, дядя Кямиль не мог кончить института за два года. В то время как в период правления Караева в Гяндже все без исключения сыновья дворян и беков старше 19-ти лет расстреливались, мой дядя по настоянию моей бабушки вынужден был спасаться бегством в Иран (так же, как и дядя Рашид, который бежал в Россию). Дядя Кямиль жил в Иране, затем в Турции, зарабатывал себе на хлеб игрой на таре, накопил денег и смог выучиться на врача, всю жизнь работал доктором и никогда не вмешивался в политику. Моя мама никогда не училась в консерватории.

Вызвавшее же особую злобу стихотворение «Солнце взойдет на Востоке» написала вовсе не мама. Это стихотворение без подписи было найдено в их гянджинском доме, при очеред­ном обыске. Оказывается, это стихотворение написал Микаил Рзакулизаде. В то время он учился в Москве, дружил с мами­ными братьями и дядей Фаррухом, гостил в их доме в Гяндже, переписывался с ними. В том числе он переписывался и с мамой, и это стихотворение он послал ей вместе с письмом. Видимо, переписка Нигяр ханым «с близкими ей по духу поэтами», намек на ее признание ими азербайджанской героиней, объясняется знакомством автора статьи с этими письмами.

Чтобы не прерывать учебу Микаила Рзакулизаде, не подвергать его будущую жизнь риску, мама не раскрыла истины, не опровергла в порыве негодования своего «авторства», приняла удар на себя и таким образом в 17 лет стала скрываю­щейся под маской помещицей, агентом мусаватистов и (вот оно – самое нелепое обвинение!) блюстителем английского капи­тала. Через какое-то время М.Рзакулизаде, написав письмо в Баку, заявил, что стихотворение принадлежит ему. Это, конечно же, отважный поступок. Но к тому времени кампания нападок направленная против мамы, различные меры для снятия ее с работы и прочее достигли наивысшей точки накала.

Многие наши поэты с большой охотой присоединились к так называемой «кампании отважных» начавших свое «шест­вие» со статьи Караева.

Спасибо, товарищу Караеву

Настоящему большевику

Мы должны как он везде

Быть со всеми начеку.

(Сулейман Рустам)

Не отставали и другие поэты. Вот, например, очень инте­ресное стихотворение.

Нигяр!

Мадмуазель Нигяр!

Если слова мои тебе, что кость в горле

Все равно скажу.

Знай, что мы живем

благодаря восходящему с Севера светилу.

Помните ли, как не было печали для таких,

как мадмуазель Нигяр

 И сыт был, и обласкан на высоте сидящий их род дворян.

Но вот Нигяр,

Тот ветер, что дует с Севера

Поднял все темные завесы, сорвал все черные платки.

Не каждый видит свет,

Не каждый его увидеть может!

Это мост, через который

Не каждый сможет перейти.

С Севера восходит солнце

Что слепит в глаза тем богачам.

Тем бекам и ханам, словом

Тем, кто кровь сосал всем беднякам.

И ты не сможешь осознать, почувствовать

То солнце.

Его понять непросто.

Ты помни, что ты Худу-бека дочь, того,

Что резал и казнил миллионы.

Сама ты Рафибекова Нигяр,

Связавшая надежду с солнцем, что взойдет с Востока.

Но есть одно светило, которое не знаешь ты.

Оно есть мы, и солнце – мы!

Сейчас наша идет борьба

И получат свое господа, мадмазели, графья

Ты мечтаешь о темных вещах

Здесь же солнце всех солнц красивей

Всех севернее и красней.

Джафар Хандан Газета «Коммунист», 23 декабря 1930г.

Как видно, художественные достоинства сего творения соразмерны его редкому благородству.

После этой статьи в газетах, журналах начали подряд вы­ходить стихи, статьи против мамы. Под такими статьями много знакомых подписей. «Но Джафар Джаббарлы и Самед не подписали», – говорит мама.

Под одной из статей была в числе других и папина под­пись. Отец сам так пишет об этом:

«В 1931 году я познакомился с поэтессой Нигяр Рафи­бейли. В то время, ошибочно приписав ей чужое стихотворение, критика открыла по ней сильный огонь. К тому же эту критику здорово подогревали различные должностные лица, не имевшие отношения к литературе. Истина выявилась потом. Молодая поэтесса вела себя с достоинством.

Под одной из этих критических статей наряду с другими авторами была и моя подпись, потому я и счел необходимым написать об этом. Как ни странно, это происшествие сблизило нас. Выяснилось, что у Нигяр и у меня много общих точек в отношении к литературе и жизни. Не знаю, какое я произвел на нее впечатление, но она мне очень понравилась. Как видно, и она отнеслась ко мне неплохо, потому что впоследствии пути наши не разошлись.

...Я счастлив, что женат на поэтессе – умной, заботливой, мужественной женщине».

Я неоднократно слышал эту историю и от отца, и от мамы; с течением лет это происшествие стало для них темой для шутливой пикировки. Но мне кажется, что и через много лет отец искренне переживал из-за своей подписи. У ученого- литературоведа Гюльрух Алибековой, написавшей книгу о моем отце, есть одно очень точное наблюдение: эту самую историю Расул рассказывает с чувством сожаления, Нигяр – с юмором.

Я всегда удивлялся тому, как получилось, что Расул Рза, имевший моральное право в своей поэме «Если б не было роз» написать о Мушфиге такие строки:

Среди подписей,

ударивших его как пощечина подлеца,

не было моей, –

Расул Рза, сумевший сохранить чистоту своего пера в 1937 году, в 1930-м подписался под подобной «кампанейской статьей».

Разумеется, большинство азаповцев[[15]](#footnote-15), и в том числе, несомненно, и мой отец, были искренни в своем гневе, ярости против всего, что считали идейным отклонением...

И еще – в испытаниях последующих лет папины любовь, верность и, безусловно, общественное положение избавили маму от многих бед.

Все это так.

Но все-таки в этой работе я не хотел обойти молчанием и этот горький факт. Как не обходил его и сам отец.

Однажды ты стала мишенью

самой черной клеветы.

В этом несправедливом обвинении

была и моя доля.

Время прошло, года смыли пятно,

но кому знать,

что вынесла ты, что вынес я

месяцы, годы...

«Я пришла в Дом просвещения – он был на месте тепе­решнего скверика Сабира. Там был какой-то литературный вечер. Я была знакома с писателем Абульгасаном. Рядом с Абульгасаном стоял молодой голубоглазый парень.

Абульгасан предложил мне почитать стихи.

– Нет, – сказала я, – я не собиралась читать стихи.

Вдруг этот парень рядом с Абульгасаном, несмотря на то, что мы еще не были знакомы, говорит:

– Ну и что, если даже не собирались, можете почитать.

Мне показалось, что он несколько бесцеремонен. И то, что так беспардонно вмешался в разговор, мне совсем не понра­вилось. И держался заносчиво. Это был Расул.

Потом Расул тоже устроился на киностудию, и там мы снова познакомились. Работали в одном отделе, сидели в одной комнате, но долгое время не находили слов для разговора друг с другом».

«Меня сняли с работы, я осталась совершенно без средств к существованию. Решила пойти на прием к Алиаге Бабаеву, работавшему тогда председателем профсоюзов». (Алиага Бабаев – дядя нашего покойного кинорежиссера Арифа Бабаева.)

Никогда не забуду его доброжелательность. «Напали на такого младенца, как ты?» – сказал он. Устроил меня на работу в «Азернешр».

А в «Азернешре» был совершенно другой мир – мир поэзии, литературы, юности. Здесь работали Сабит, Мушфиг, Назакет.

Специалист по немецкому языку Назакет Агазаде была одной из самых близких маминых подруг. Впоследствии Назакет-ханым стала супругой ученого – языковеда Алигейдара Оруджева. В 1979 году она скончалась во время туристской поездки за границу.

Твое тело с чужбины

самолетом привезли.

В запаянном железном ящике

доставили на родную землю.

Холодным пальцами

ухватилось за мое сердце

это горе, эта печаль,

Назакет, Назакет,

дорогая, любимая

подружка моя...

Ни отцовского хлеба мы не ели,

ни братского подарка не видели...

Хлестала нас горькая

суровая

сиротская жизнь...

...На трудных дорогах жизни

нам любимыми стали Али, Расул.

Они были юношами

с горячей любовью,

открытыми сердцами.

В то время

общение с нами

было не просто любовью,

но и большой отвагой...

В мир воспоминаний зовет меня снова

эта разлука, эта скорбь,

Назакет, Назакет,

дорогая, любимая

подружка моя...

В 1934 году мама с папой поженились. Всегда с улыбкой поминали, что во время заключения брака попали в странное положение: для регистрации надо было заплатить один рубль, но ни у одного из них рубля с собой не было. Этот факт попал и в папино стихотворение.

Хотя они зарегистрировались, свадьбу сыграть не смогли. Тети мои учились, папина большая семья - его мать, три сестры (старшая сестра Кюбра была замужем) – и сами они жили в двух маленьких комнатушках на Первой Параллельной.

Мама поехала учиться в Москву. Поступила в педаго­гический институт имени Бубнова. Через несколько лет и отец отправился в Москву за очередным незаконченным высшим образованием.

Свадьба их состоялась 11 февраля 1937 года в Баку, в той самой квартире на Первой Параллельной. Среди свадебных гос­тей были и Гусейн Джавид, Ахмед Джавад, Кязим Алекперли, Микаил Мушфиг[[16]](#footnote-16).

«Я часто думаю, наверное, они там вспоминали этот день, наше свадебное торжество, бедняги».

Она устает от беседы.

– Ты иди, – говорит она, – хочу немного отдохнуть... – Потом спрашивает:

– Ты в Мардакяны поедешь?

– Поеду, – говорю.

– Передавай Расулу привет.

Каждый раз посылает Расулу привет...

Каждый раз, выйдя из больницы, иду в Аллею почетного захоронения – к отцу на могилу.

Милиционеры Аллеи уже здороваются со мной как со знакомым. Смерть отца вводит меня в новый круг знакомств; возникают отношения с учреждениями, организациями, дверей которых до сих пор не знал; управление бытового обслуживания населения, управление зеленого хозяйства, соответствующие отделы Бакинского совета, Художественный фонд, каменные карьеры, мраморный завод, скульптурная фабрика.

Узнаю людей разных профессий – поддерживаю связи с каменотесами, обработчиками гранита, с мастерами, делающи­ми надписи на камне, погружаюсь в мир учетчиков, бухгалтеров, бесчисленных бумаг, решений, указаний, смет, распоряжений, резолюций. Начинаю отличать друг от друга разные виды авто­погрузчиков, грузовиков, самосвалов, подъемных кранов...

Подобно тому, как есть соседи по двору, соседи по жизни, бывают и соседи по смерти.

Направляясь к папиной могиле, смотрю на могилы справа и слева от него – на его соседей по смерти, и эти покойники становятся как бы родственными мне.

Рядом с папиной – могила Имрана Касумова. Имран скончался ровно через двадцать дней после папы – 20 апреля.

\* \* \*

За полвека работы в литературе у мамы вышло очень мало книг. Этому есть ряд причин. Первая причина, конечно же, в том, что маме не удалось написать и сотой доли того, что она могла бы написать. Семейный долг, материнские обязанности, заботы большого дома мешали ее творчеству. Мешали мы – мы все. Мы все и, конечно, в очень большой степени я сам, грабили, расхи­щали ее время, отрывали от письменного стола, эмоционально обкрадывали ее в том, что предназначалось для творчества. Дни, часы, которые могли быть посвящены поэзии, она раздавала мужу, семье, детям, внукам. Мы всегда были рядом, всегда были с ней; не давали возможности уединиться, она не находила времени оставаться наедине со своим сердцем. А она в отличие от отца любила одиночество.

Отец не терпел уединения. Особенно в последние годы он совершенно не выносил одиночества. Да и в прежние годы, когда здоровье его было еще хорошим, он никогда не мог выдержать срок разлуки, возвращался из мест отдыха, домов творчества, добыв там полсрока, точно так же, как подростком убегал домой из разных учебных заведений.

Порой он тосковал, тяготился в семье, среди нас. Но без нас тосковал еще больше.

Мне кажется, что и во времена, когда он был здоров, он так часто отправлялся в поездки, путешествия, чтобы еще раз убедиться: не может жить долго вдали от дома...

Куда бы ни поехал, через неделю, самое большее через две – возвращался домой. В прошлые годы, когда он еще не был изнурен болезнями, заботами, усталостью, он очень любил ходить в гости и принимать гостей. И ему еще нравилось, чтобы все мы – дети, внуки – собирались вокруг него, были при нем. Самой большой радостью последних лет для него были шалости, забавные словечки внучат, разные фокусы, выкидываемые ими. Чаще, чем кого-либо из великих поэтов-философов, он цитировал внучат, их забавные словечки.

Мама всех нас – детей, внуков – любила не меньше отца, но ее недосягаемой мечтой была возможность время от времени оставаться одной, замыкаться в своем внутреннем мире. Она никогда не скучала, оставаясь наедине с собой. Такие моменты уединения были для нее несбыточными грезами. Одиночество среди людей – самое страшное из одиночеств.

Мне кажется, что, например, одиночество Энвера Мамедханлы, прожившего всю жизнь одиноко, но среди книг, своих заметок, в мыслях, являющихся плодами колоссальной эрудиции и феноменальной памяти, в раздумьях, порожденных внутрен­ней эволюцией мысли, в рассуждениях о мире, жизни, явлениях, в анализе прежних и современных людей, в том числе и само­анализе – наполненная всем этим жизнь, изолированное от лю­дей бытие Энвера Мамедханлы – это еще не предел одиночества. Предельная степень одиночества – это одиночество среди людей, жизнь, замешенная на каждодневных заботах, на сутолоке тысячи бытовых проблем. Именно вот эта деспотия будней опустошает, разъедает человека изнутри – невозможно уйти в себя, остаться наедине со своим сердцем, мыслями, памятью, наконец книгами – это и есть повседневный, безнадежный, беспросветный вид одиночества. Как говорил папа: «Кому поведать мою печаль, мир полон людей».

Лишенная в большинстве случаев возможности оставаться наедине с собой, мама, естественно, не могла выделить для твор­чества столько времени, сколько ей хотелось. А результат – напи­сано ею во много раз меньше, чем могло бы быть. Творчеством занимались мы, а наши заботы несла она.

Каждая написанная мною статья, созданное отцом стихо­творение – это ненаписанное мамино стихотворение, ненаписан­ная ею статья.

Это, как я говорил выше, основная причина того, что у мамы так мало книг. Основная причина, но не единственная.

Есть тому и другие причины. Выпускать книги – трудное, утомительное дело, для этого должны быть железные нервы, должно быть долготерпение, упорство. Не говоря уже о настырности, ловкости, гибкости... Плюс – обивание порогов издательств, пока книга будет включена в план, а если включена, пока будет напечатана...

Последняя книга, вышедшая при жизни мамы, отклады­валась восемь лет – то включалась в план, то исключалась из него. То маму уверяли, будто ее книгу будут печатать новейшим способом – фотонабором, то выяснялось, что этот метод еще не освоен, то говорили, что книга снова набирается старым способом, то забывалось и все сказанное, и сама книга... Прохо­дили месяцы, годы... Мама, конечно же, переживала все это, но не могла ни требовать, ни жаловаться, ни ходить кого-то просить. Ничего не говорила, только оставалась обида в сердце, и все.

В апреле 1981 года, через два-три дня после приговора врачей, я пошел к директору издательства[[17]](#footnote-17). Сказал ему про мамин диагноз и про отпущенный ей срок. Это был единствен­ный человек, которому я сказал правду.

– Она должна увидеть свою книгу, – сказал я, – ради этого я готов сделать все, что возможно. Если нужно, я могу ночевать в типографии.

Директор меня понял.

– Будь спокоен, – сказал он, – сделаем так, что в бли­жайшее время книга выйдет.

Он сдержал слово, и книга вышла в течение 25 дней; 30 апреля – помню, был канун Майских праздников – я понес в больницу сигнальный экземпляр.

Это была малюсенькая книжка, к тому же не оригиналы стихов, а их переводы на русский язык. Но сколько радости подарила эта маленькая книжка больной поэтессе на закате жизни. Могу ли я забыть, как она положила книгу рядом со своей подушкой, показывала посетителям, а потом, когда я принес еще несколько экземпляров, просила надписывать от ее имени врачам, медсестрам. Сама была обессилена, писать не могла, только подписывалась под продиктованными словами.

В те дни сначала в «Литературной газете», а потом и в республиканской печати появилось сообщение: известный итальянский композитор Франко Манино написал кантату «О любви». Текст кантаты составлен из стихов нескольких советс­ких поэтесс, в том числе Нигяр Рафибейли.

Я не знал человека более далекого от тщеславия, чем мама, но этому сообщению она обрадовалась как ребенок.

– Напишите от моего имени благодарность этому компо­зитору, – говорила она.

День ото дня болезнь изнуряла ее, она не могла проглотить кусочек хлеба, напоить ее ложечкой фруктового сока было самой большой нашей радостью. Но, несмотря ни на что, она все еще продолжала шутить:

– Отправьте этому итальянцу мою фотографию, только фото молодых лет. Впрочем, нет, не надо, итальянцы – народ пылкий, вдруг, глядишь, приедет сюда, увидит меня в таком виде и раскается в том, что написал музыку на мои слова.

Умолкала, задумывалась, потом вдруг говорила:

– Подумать только, в Италии раскопал мои стихи. Где Италия, где мои стихи...

В связи с этими разговорами – еще одно печальное воспоминание.

Однажды отец дал мне три-четыре песенных текста.

– Покажи Эмину[[18]](#footnote-18), – сказал он, – посмотри, если ему понравится, пусть напишет песню.

Через два-три дня спрашивает:

– Ну что, отдал стихи Эмину?

– Отдал.

– Пишет?

– Напишет.

– Когда?

– Не знаю, сказал, что тексты очень понравились, обя­зательно напишу.

– Ну, тогда пусть не затягивает.

Прошло еще три или четыре дня.

– Ну что, от Эмина нет вестей?

– Пока нет.

– Если не пишет, скажи, пусть вернет.

– Ну что ты такие странные вещи говоришь, всего неделя прошла, напишет еще.

Прошло еще три или четыре дня.

– Скажи Эмину, пусть вернет стихи, – говорит отец. – Не хочу, пусть не пишет.

Стараюсь как можно мягче уговорить его: ну поче­му такое нетерпение, ты сам поэт, творческий человек, знаешь, то произведение не создается сразу, второпях. Вот и Эмин должен сначала хорошенько освоить текст, поискать и сочинить музыку, достойную стихов, достойную тебя.

Кому говоришь?

Вообще у отца по отношению к моим друзьям была какая-то особо суровая требовательность, даже какая-то капризность. Всех моих друзей он любил. Естественно, не за то, они были моими друзьями, а за их творчество, талант, ум. Но от того, что они были моими товарищами, он обращался с ними более бесцеремонно. Иногда говорил им резкие слова, грубил. В стихотворении, которое Вагиф Самедоглу написал после смерти отца и которое я уже приводил, он называет его колким, «злым на язык». Если бы отец каким-нибудь чудом смог прочесть эти стихи, они, несомненно, ему понравились бы. И против слова «злоязычный» не возражал бы. Ведь он и сам знал, что язык у него порой бывает весьма острым, и по этому поводу написал даже стихотворение «Злоязычный». Те, кто читал это стихотворение, поймут и причину, и объяснение, почему отец был «злым на язык».

Справедливости ради должен сказать, что в обращении не только с моими товарищами, но и со своими друзьями он порой бывал излишне резок.

Помню, когда его самый близкий и верный друг Сабит Рахман узнал, что у отца нашли сахарную болезнь, он сказал мне:

– Да, весь сахар у Расула в языке...

Когда Джафар Джафаров работал на ответственном посту, мы однажды встретились с ним па улице.

– Расул когда приезжает? – спросил он.

Отец был где-то в отъезде.

– Через четыре-пять дней приедет, – сказал я.

Джафаров улыбнулся.

– Ну, пусть быстрее приезжает, – сказал он, – пусть опять нас поизводит, поистязает.

Через два года после папиной смерти Аббаса Заманова избрали членом-корреспондентом республиканской Академии наук. Когда я его поздравил, он сказал:

– Если бы Расул был жив, первым бы меня поздравил. И знаешь, что бы он сказал? Сказал бы: Аббас Заманов, там поприличнее ученого не нашли и избрали тебя?

– Но и больше всех радовался бы отец, – сказал я.

– Конечно. Разве могут быть сомнения в этом?

Всю жизнь свой характер отрицал Расул.

Думал,

из-за сотни деревьев виднеется,

как он мягок,

какое у него сердце -

как сердце младенца.

Резкость намазывая на лицо, на речь,

порой от резкости

и сам задыхался,

слезы текли ему внутрь.

Уговаривал себя:

«Пойми ты, сердце,

мужчине не к лицу таять,

говорить «милый», «дорогой».

Насильно не дружись,

есть у тебя друг – дружи,

нет — ходи один.

Мужчина сам должен помогать,

а не ждать помощи от кого-то.

Как у жизни есть день и ночь,

есть у каждой жизни свое белое, черное.

Из прошедшей сладкой жизни

осталась ему сахарная болезнь

да еще боли в сердце.

(Фикрет Годжа. «Реквием»)

Цепочка ассоциаций отвлекает меня. Вернемся к песням Эмина.

Я, разумеется, не передал Эмину слова отца, не забрал обратно тексты, и через некоторое время он написал на эти стихи несколько песен. Одна из этих песен в исполнении Зейнаб Ханларовой стала очень популярной.

А вспомнил все это я по другой причине. Когда отец бурно возмущался нерасторопностью Эмина, мама как-то очень робко, нерешительно и даже чуть смущенно сказала мне: «Вот несколько моих стихов, покажи Эмину. – Потом с улыбкой добавила: – Я не буду торопить, если придутся ему по душе, напишет, когда захочет».

Это было сказано так мягко, деликатно, застенчиво, что у меня и сейчас сердце ноет, когда вспоминаю. Я сразу же передал стихи Эмину, и он сочинил на мамины слова песню «На горы лег туман». И эту песню впервые с успехом исполнила Зейнаб- ханым.

...И вот в эти дни, после папиной смерти, Эмин однажды сообщил мне, что «сочинил новую песню на слова тети Нигяр. Но не из тех текстов, что ты мне дал, а на одно ее старое стихотворение». Когда Эмин в 50-х годах учился в Московской консерватории, он ходил в Ленинскую библиотеку, читал бакинскую прессу, переписывал в тетрадь понравившиеся стихи. И тогда же переписал себе это мамино стихотворение, опубли­кованное в журнале «Азербайджан».

Эту песню в исполнении Акифа Исламзаде он записал на ленту. Однажды мы принесли в больницу и ленту, и магнитофон. «Пусть сама тетя Нигяр тоже услышит», – сказал он.

Я не знал, на какое стихотворение он сочинил песню, и удивился, зачем это Эмин, имея новые стихи, обратился к старому – тексту.

Но все понял, как только услышал первые слова песни:

Мой светлоглазый, ночи в разлуке с тобой

Длинны, как год, что мне делать?

В саду у нас розы каждое утро

Рано расцветают, безвременно вянут,

что мне делать?

Именно эти слова – обращение к человеку, которого уже нет – и затронули струны в сердце композитора. О том, что его нет, знал Эмин, знал Акиф, все знали – одна только мама ничего не знала.

Песня ей очень понравилась, она попросила, чтобы мы не уносили ленту и магнитофон, давала прослушать песню врачам, другим посетителям.

Фидан однажды шепнула мне:

– Прошу тебя, унесите эту ленту, я не могу вынести, не могу слушать эту песню.

Для мамы это была только песня – для Фидан, Тараны, меня, для всех, кто знал, – это была боль, мучение, смертная тоска. Мама слушала только музыку, только исполнение, только слова:

Глаза цветов застыли в ожидании,

Что есть на свете хуже разлуки,

В этот весенний вечер тебя Нигяр

Печально вспоминает, что мне делать?

Мама ведь не знала того, что знали мы. Не знала, что напрасно зовет своего светлоглазого, напрасно к нему взывает.

Ее светлоглазый вот уже больше месяца навсегда закрыл свои голубые глаза...

\* \* \*

«Уважаемый Анар муаллим! Здравствуйте!

Если помните, в середине 1978 года Вам написал письмо читатель, находившийся на воинской службе на Дальнем востоке. И вы послали этому читателю Ваши книги. Мы – служившие вместе азербайджанские ребята-дали обет, что, как только прибудем в Баку, первым навестим Вас. Каждый дает какой-то обет. А мы – вот этот.

Возвращаясь, мы летели через Ташкент, 19 мая должны ли вылететь в Баку. На аэровокзале я познакомился с композитором Сулейманом Алескеровым. Зашел разговор о Вас, о музыке. Когда я услышал от него: «Мы потеряли Расула Рза», – у меня на глазах выступили слезы.

Расул Рза – самый любимый в нашей семье поэт. Каждый раз, отправляя мне посылку (на воинскую службу), отец вкладывал и книжку Расул-муаллима. Знал, что я без ума от его поэзии, каждый раз, когда заходила речь о личности, о человеческом достоинстве, отец приводил нам в пример Расула Рза.

Расул Рза был Физули, и Сабир, и Самед Вургун. И в то же время ни один из них. Он был Расул Рза.

В Баку мы отказались от мысли навестить Вас. Что я мог Вам сказать? Уехал домой. Потом однажды видел Вас по телеви­зору.

...Для чего я написал Вам это письмо? Сердце мое пере­полнено. Когда сердце переполнено, ему необходимо освобо­диться.

...Прошу простить меня за то, что отнял у Вас время. Желаю здоровья и долгой, содержательной жизни.

Абилов Этибар. Нефтечалинский район».

«Дорогой Анар! Брат мой!

Я написал это стихотворение в декабре 1980 года, после того, когда съездил навестить дядю Расула в больнице. За один присест. Недостатков много. Сверх меры. Я до самой смерти не стану редактировать это стихотворение, идущее из самых глубин моего сердца. Если оно выиграет в стиле, то потеряет в искренности. Поэтому прошу тебя, прими это стихотворение как есть и в знак моей огромной любви к дяде Расулу. Ради бога!

Твой Вагиф Самедоглу, 13 апреля 1981, Баку».

ДЕКАБРЬСКИЙ ЛИВЕНЬ, КОНЬЯЧНЫЙ ТУМАН

Порой вспоминается мне, как был я в беспамятстве

в декабрьском ливне,

в коньячном тумане...

Чтоб тебе пропасть, сила,

заставляющая меня писать стихи!

Когда волны ищут море

и облака – небо,

когда дикий ветер степей

дует в скалах,

когда рыбы, глядя на птиц,

обижаются на моря,

глаза мои превращаются в бога,

изгнанного из родного края,

руки, как у мучеников-пророков,

повисают у меня по бокам.

Тогда, опершись на дикий, бешеный ветер,

глядя на тень облака,

ползущую по сиротскому склону,

я вспоминаю тебя.

Думаю,

что ты еще жив,

думаю,

что когда-то

умру я сам...

Скажи хоть слово!

Ну что со мной такое?

На челе твоем всегда я видел ум,

а вот ведь ни разу не увидела моя голова

ласки твоей руки... Что делать, поэт, как быть, аксакал?

Издалека печальное оплакивание слышу

в том старом, очень старом джазе,

который я слушаю...

Что делать, дядя Расул,

как быть, Расул Рза?

...Не могу я уповать

ни на женщину, ни на саз.

Что делать, дядя Расул,

как быть, Расул Рза?

Декабрьский ливень восьмидесятого года

с коньячным туманом внутри

привели меня в больниц,

где ты лежал на смертном одре.

Я увидел, ей-богу, увидел, что ты умрешь.

Я увидел,

пусть всю жизнь простою слепым

перед счастьем.

Бог дал мне глаза, чтоб видеть боль!

Не могу сказать, родной,

любовь ли к тебе потянула мои губы

к сухой-пресухой коже

твоей правой руки,

или наклонил я голову

по воле проклятого коньяка...

Прости, поэт, прости.

Побранил меня, называя «детка Вагиф»,

того, кого хотел, чтобы полюбил весь мир.

Побранил за то, что в декабрьский ливень

я поддался коньячному туману!

Но и голубые слезы наполнили

твои светлые глаза, дядя Расул.

Я понял, понял в тот декабрьский день,

что зиму ты протянешь как-нибудь, но вот

до весны

не доживешь...

Теперь,

в этом декабрьском ливне,

в этом коньячном тумане,

что мне делать, дядя Расул,

как быть, Расул Рза?

Декабрьский ливень

с тем безумным коньячным туманом

далеко за полночь

снова привели меня в больницу.

А почему бы сыну Вургуна не прийти,

почему, отчего?

Дорогу мне преградила твоя дочь, дядя Расул.

И как!

Преградила детка Фидан.

В ту ночь чуть не убила она меня.

Сказала: он спит,

не пустила, дядя Расул, к тебе меня.

Вышел я из больницы,

слился с беззвучным ливнем, безглазым

морозом.

Что делать, дядя Расул,

как быть, Расул Рза...

Дядя Расул, жизнь твоя уходит,

трудные дни иссякают.

Какие-то мечты пропадают,

какие-то надежды кончаются...

У меня есть пять – десять надежд,

не знаю, кого молить?

Боже, пошли мне жизнь,

не убивай, оставь живым пока,

пять – десять ненаписанных стихов,

пять – десять молитв осталось к тебе.

В глубине плавать не могу,

в мелководье не ступлю, хоть убей!

Что делать, дядя Расул,

как быть, Расул Рза?

Хоть я и печален, не брани меня

и не делай грозными светлые глаза,

как ни люблю я тебя на этом свете,

я даже бога не слушался.

Так вот, дядя Расул, помолчи,

закрой в этот вечер свою раскрывающуюся грудь.

Давай постоим лицом к лицу с закрытыми глазами.

 Я тебя оплачу, а ты меня.

Мечты, надежды мои сиротами остаются без тебя.

Кто-то и меня приговаривает к смерти.

В сон мой каждую ночь приходит безбрежное море

и еще гробы под белыми парусами.

У меня на глазах ты уходишь, что мне делать?

Плакать, хлопая по коленям, или умолять?

Ты был на свете, что я с этим делал,

теперь исчезнешь, с отсутствием твоим

что делать?

Когда сердце, глядя на мозг,

держит траур, плачет,

тысяча средств на свете

одной мелодии что могут сделать?

Когда приходит горе,

разум что может сделать?

Когда умирает Расул Рза

и я, записывая эти слова,

вытираю глаза,

этот слепой мир,

не видящий глухого бога, что может сделать?..

\* \* \*

19 мая день рождения отца.

Помню, в ночь перед этим днем в больнице с мамой оста­вался я. Слабея, теряя силы, мама большую часть дней и ночей проводила во сне, очнувшись, произносила два-три слова, потом снова засыпала. Ежедневно спрашивала о Расуле. «Ничего страшного, – говорили, мы, – но давление все еще высокое, врачи не разрешают вставать».

Она строила планы на лето. «Вот немного станет лучше, переедем на дачу, – говорила она, – бог милостив, и Расул к тому времени поправится, в Бузовнах, на даче, мы всегда чувствовали себя хорошо. И Турал пусть поступит в институт, бог даст, я сама угощение по этому поводу устрою».

Турал в это лето готовился к экзаменам в вуз.

Но именно в тот день, я четко помню, 18 мая, пробудив­шись после долгого забытья, она пристально посмотрела на меня. В комнате мы были вдвоем. Неожиданно она сказала:

– Я знаю, что с этой болезнью мне больше не встать. Мама тоже так ушла. За 10-12 дней до смерти только воду пила, по ночам у меня то и дело просила воды. Однажды не попросила. Так во сне и скончалась. И я, наверное, так же уйду.

– Что это с тобой? – сказал я. – Зачем такие нехорошие слова говоришь?

– Нет, я смерти не боюсь, – сказала она – Мне вас жалко. Старшего у вас не останется.

– Не начинай опять, Нигяр, – сказал я. Они сами нас так научили, и папу, и маму мы звали по именам.

– Нет, нет, просто так сказала.

Чтобы отвлечь, развеять ее мысли, я начал говорить о том, о сем.

В тот день она сама много разговаривала. Это был послед­ний раз, когда она беседовала со мной так долго. Начала расска­зывать о своей подруге детства Ф. О Ф. она всегда говорила с большой нежностью.

«Такой она была красивой девушкой, такой интеллигент­ной и такой несчастной. Я хочу как-нибудь рассказать тебе всю ее жизнь, может быть, когда-то пригодится. Это как будто целый роман».

Как бы чувствуя, что больше никогда не сможет рас­сказать, начала, говорить теперь.

Отец Ф., овдовев, уже на поминках своей жены присмат­ривался к приходящим и уходящим девушкам и женщинам. Одна из них ему приглянулась, и, как только он отметил сороковины, сразу же женился на ней. У него были взрослые дети, даже внуки, все от него отвернулись, мало того, что годовщины смерти прежней жены не дождался, да еще сам старый, а новая жена – совсем молоденькая. У них в Аджикенде был дом, и он, старик, сидел с молодой женой на живописном балконе своего дома и пил чай с вареньем.

«...Мне эту историю рассказывали старшие, все это про­изошло задолго до моего рождения, но я так хорошо, отчетливо представляю себе и эту веранду, и его, и его юную жену, и тот чай с вареньем, как будто все видела собственными глазами».

Значит, и мама со всей наглядностью переносила в свое сознание сцены, хранившиеся в чьей-то памяти, а теперь вот я картины, запечатленные в ее памяти, хочу забрать в свой внутренний мир, хранить там, помнить.

«Одним словом, Ф. родилась от такого вот брака, как говорится, была дитя любви. Ее молодая мать была сестрой портного, известного как «Зингер» Мамед. Когда Ф. выросла, ее тоже выдали за портного, она не любила его, но покорилась воле родителей. А муж ее, тот самый портной, в соответствии с тогдашней модой записал в паспорте, будто он иранец. Когда переселяли иранцев, я спрятала паспорт Ф,- какая там иранка была Ф., но она не согласилась, забрала свой паспорт, после­довала за своим мужем. Там у них родилась дочка. Она писала мне письма, писала, что появление на свет этой малышки принесло невообразимую радость, счастье, как будто жизнь, наконец, обрела содержание, как будто кто-то разъяснил мне не осознаваемый до сих пор мною смысл, очень высокий смысл моего существования.

После 1956 года они вернулись, жили в Гяндже. Ф. гуляла с дочкой в саду, шесть лет было девчушке. Когда переходили улицу, она вырвала у матери свою ручку, побежала. Машина ударила девочку, она тут же скончалась. Я вот думаю, вся жизнь Ф. была испытанием, почему судьба подвергает человека таким нечеловеческим испытаниям, с какой целью, зачем? Это последнее она уже не вынесла. Ни трудные годы детства, ни последующие беды ее сломить не могли, но смерть ребенка сломила.

Теперь и самой Ф. нет...

А ведь Ф. - все мое детство, моя юность...»

Рассказ ее утомляет.

– Выключи свет, я буду спать, – говорит она. Вскоре я слышу ее спокойное сонное дыхание. Что, интересно, она видит во сне?

Одиночество бывает трудным

и в радостный день,

и в бурю.

Я думаю о светлоглазой красавице –

озере Гейгель.

В сон мой входят

дубовые леса Аджикенда.

Юность моя рвет желтые цветы

на яйлаге Хачбулаг.

Утром, едва проснувшись, она говорит:

– Сегодня день рождения Расула. Поедете в Мардакяны?

– Да.

– Купи ему от меня большой букет сирени.

– Хорошо.

Я вышел из больницы. Пошел на базар. Хотел купить си­рень и отнести на папину могилу. На базаре сирени не нашлось.

Пришел к ним домой и увидел на книжной полке рядом с большим папиным портретом в вазе букет сирени. Оказывается, цветы купила Фидан. Не зная о маминой просьбе, купила именно сирень.

В 2 часа мы отправились в Аллею почетного захоронения. Вскоре пришло много народу – писатели, ученые, журналисты.

В газетах вышли папины стихи, вечером по телевидению должны были показывать снятую о нем московскую передачу.

Родственники, друзья собрались в папином доме. Радио начало передачу об отце. Через 49 дней после его смерти мы впервые услышали папин голос – он читал стихи.

После папиной смерти прошло примерно два месяца, а в его адрес все еще приходили письма из разных мест, из разных городов. Письма, приходящие из Азербайджана, содержали соболезнование нам – в Азербайджане трудно было найти человека, не знающего о смерти Расула Рза. Но в некоторых письмах из других городов обращались к нему самому, как к живому, не зная об его кончине. Здесь я хочу привести три таких письма; письма, которые никогда не дойдут до адресата.

«Уважаемый мастер!

Пишу Вам из Вьетнама!

Дорогой товарищ Расул.

В шестидесятые годы в журнале «Неделя» напечатаны Ваши стихи о красках. Мне очень понравились. Решил сразу переводить. К сожалению, тогда была война. Не время для стихов. .

Сейчас охотно печатают и читают советских писателей, Но рукопись перевода я потерял. Я искал подлинник в библиотеке. Но никак не удалось найти. Я перевел Тургенева, Паустовского и Антонова. Очень осторожен в отношении перевода стихов. Единственное стихотворение, которое хочу перевести, – Ваше. Не будете ли так любезны, сообщить мне (телеграммой или пись­мом), в каком номере «Недели», в каком году напечатаны эти стихи... В нашей библиотеке есть старые номера еженедельника с 1958 г. Я хочу успеть к октябрьскому празднику или к дням съезда нашей партии. В будущем я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы нашли возможным прислать мне сборник самых любимых Ваших стихов. Почему-то Ваши стихи на русском языке не приходят к нам. И, признаюсь, я мало знаю о Вас – хотя достаточно одного стихотворения, чтобы полюбить Вас навсегда. Желаю Вам здоровья, счастья и больших творческих успехов. С уважением.

Искренне Ваш,

*Буй Мот Куань СРВ Ханой»*

«Дорогой товарищ Расул Рза!

(Извините за неуклюжее обращение – я не знаю, как Вас называть по отчеству.) Я никогда не писал писем никому из писателей, поэтов или артистов, т.к. мне было неудобно их отвлекать от дел.

Но тут не мог удержаться.

Дело в том, что в 1960 г. меня призвали в армию, дома остались жена и сын. Жена устала ждать, и было очень тяжело, казалось, что хорошего ничего не будет. И в это время мне попалась «Литературка» с Вашим стихотворением «Разговор вчетвером» – сошлись вчетвером надежда, сомненье...

Оно меня поразило и помогло обрести равновесие. С тех пор я стал интересоваться поэзией. А это стихотворение запомнил на всю жизнь.

Несколько лет назад у моей сестры заподозрили глаукому. Она сама врач и знала, что это грозит слепотой. Когда она мне призналась, чего она опасается, я ей прочел это же Ваше стихо­творение.

Оно ей тоже очень оказалось нужным!

К счастью, диагноз не подтвердился. Но это стало известно потом.

Все эти годы я искал это стихотворение. Я не был уверен, что правильно запомнил его автора, поэтому я не написал раньше. Я смотрел все Ваши сборники, которые мог достать. Обнару­жил для себя еще великолепные стихи, но этого стихотворения почему-то Вы не включали.

А на днях мой сын (ему уже 25 лет) прислал мне Ваше стихотворение. Он нашел его в подшивке «Огонька». (Так он мне сообщил.)

У меня все получилось по Вашему стихотворению: новая семья, счастье, дочь. Мои дети (дочке 16 лет) тоже любят поэзию. Так как хорошие книги очень трудно купить, я уже несколько лет переписываю особо полюбившиеся стихи в тетрадь. У моих больших детей тоже есть свои тетради. И особое удовольствие мы испытываем, когда кто-то найдет стихотворение, а осталь­ные сочтут его «достойным» своей тетради.

Из Ваших стихов мне еще очень нравятся из «Песен о море»... «Море бывает разным»...

«Лодки» – на прощанье блеснув белизной, Вы напомнили прошлое мое...

«Капли» –

Капля за каплей – дождь,

Капля за каплей – слезы...

и особенно – «О молодости и старости, неверности и верности».

Извините, что Вас отвлекаю, но очень хотелось поблаго­дарить Вас. Еще раз большое спасибо и желаю Вам здоровья, многих лет и новых стихов.

До свидания.

P.S. Мне 46 лет, я инженер-радиотехник, сын – инже­нер-программист ЭВМ, а дочь в 9 классе. Я не надеюсь, что Вы найдете время ответить, но «последней умирает надежда».

Мой адрес: 310092, Харьков, 92, ул. Шекспира,

12, кв. 4. Марков Валентин. Семенович».

\* \* \*

«Уважаемый Расул Рза!

Обращаются к Вам члены клуба юных любителей книги «Поиск» и литстудии «Рассвет» Ценковской 8-летней школы с Украины.

Очень бы хотели иметь с Вами, дорогой Расул Рза, дру­жественную переписку в честь 60-летия образования СССР, получить от Вас дружеские советы нашим литераторам и любителям книги. Очень бы хотели получить от Вас книгу с автографом, чтобы больше знать о Вашем творчестве и о твор­честве Вашего Народа. Очень просим ответить на наше письмо. Ваш ответ будет для нас символом дружбы наших народов. Напишите, как называются на Вашем языке слова «хлеб», «песня», «дружба». Желаем Вам творческих удач, здоровья и счастья! С уважением члены клуба «Поиск» и литстудии «Рассвет» Ценковской 8-летней школы Галянского района Полтавской области».

Эти письма остались без ответа. И полтавские школьники не узнали, как звучат по-азербайджански слова «хлеб», «песня», «дружба». Не узнали они, что слово «смерть» на азербайджанс­ком языке означает «олюм».

\* \* \*

20 июня в газетах было опубликовано сообщение, что Нигяр Рафибейли за большие заслуги в области литературы присуждено звание Народного поэта.

В больницу стали поступать поздравительные телеграм­мы. Мама говорила:

– Странно, что люди меня так любят, я же всегда была в тени...

Я написал ей коротенькое поздравительное письмо от отца, принес, прочитал.

Она была так изнурена и обессилена, что уже никак не реагировала на эти вещи. Об отце уже спрашивала редко, от случая к случаю. Однажды, оставшись наедине со своей двоюродной сестрой, пожаловалась ей:

– Сколько времени я за Расулом ухаживала, теперь сама же три месяца болею, а он ни разу ко мне не зашел...

Большую часть дня и ночи проводила в забытьи и, просыпаясь, тоже не разговаривала. Иногда читала строчку Физули: «Пусть никто не будет так печален, как я, о господи!»

И еще часто повторяла строку одну: «Уйду, как весенняя пора...»

Не знаю, чья это строка – другого ли поэта, ее ли собственная? Может быть, из неизвестного мне стихотворения?

Или, может, эта строчка из стихотворения, которое она хотела бы написать и которое уже никогда не будет написано?

В моих ушах всегда будет звучать эта строка, которую произносит мама своим слабеющим, но все еще не утратившим своей прежней прелести голосом: «Уйду, как весенняя пора».

И уходила, день за днем таяла как свеча, угасала. Уходила, как весенняя пора. Уходила вместе со своей последней весной.

Зеленеют луга, пробуждается земля,

Наряжаются, как невеста, каждое ущелье,

каждая гора.

Дух мой по обыкновению трепещет.

Любовь моя в тебе, душа в тебе,

Как игрива, как нежна весна.

То встречала я тебя, то провожала,

То ожидала, тосковала.

Зимой весть о тебе издалека получила.

Сказала, залог мой, любовь моя у тебя,

Как игрива, как нежна весна.

Лучшие песни соединяла я с твоим именем,

Как чистое дыхание ты пришел мне на помощь.

И если как-нибудь в грустный, тихий

Вечер вспомнишь обо мне,

Знай, что любовь, душа моя с тобой.

Как игрива, как нежна весна.

В связи с присвоением ей звания Народного поэта на радио подготовили передачу. Читали ее стихи, пели песни. Она слушала по транзистору, мне казалось, что она в забытьи. Но в том месте передачи, где ее особенно хвалили, она слабо улыбнулась, с усилием подняла руку и поднесла ко лбу – отдать честь. Это она делала для нас: чтобы последними своими шутками поддержать нас.

29 июня день ее рождения. Палата ее была вся в цветах. И от папиного имени мы принесли букет.

Во сне я вижу цветы каждую ночь,

целую их тихонько,

все вокруг меня – цветы,

подушки, одеяло – цветы...

Как будто две капли крови капают

из раны моего сердца.

Эти гвоздики цвета пламени

дал мне любимый в миг разлуки.

Как будто покрыла их

печаль мира...

Во сне я вижу мои гвоздики,

собрав мои увядающие цветы,

я плету венок надежды.

Надежды не оставалось; даже для слов благодарности у нее не оставалось сил – с трудом могла шевелить губами.

У мамы есть старая фотография – кажется, снята она вблизи Москвы, в Малеевке: она, совсем еще юная, стоит на широком, заросшем сплошь белыми цветами лугу – у нее у самой в руках большая охапка полевых цветов, которые, наверное, собрала вот на этом самом лугу.

Мне вспоминается первая колыбельная, услышанная в младенчестве из маминых уст:

Баю-бай пою тебе, чтоб ты заснул,

Утонул в розах,

Среди роз

Чтобы нашел сладкий сон.

Теперь сама она находила свой сон среди роз, среди очень любимых ею гвоздик. Порой мне кажется, что и сама она пришла в наш мир, в жизнь каждого из нас из какого-то иного мира, из мира, полного теми белыми полевыми цветами, и должна была однажды непременно туда же возвратиться.

В этом «горьком сне», найденном среди цветов, она прощалась не только с миром, не только с нами, но и с цветами.

Пестрые цветы, которые я любила и ласкала,

Прощайте, о прекрасные весенние цветы!

Целовала я глазами вас каждое утро,

Но мало собрала букетов цветов.

Пусть дует над вами тихонько ветерок.

Пусть собирают вас девушки букет за

букетом,

Если ветер повеет, падайте мне на грудь,

О цветы осени, о цветы весны.

*«Моя дорогая Нигяр!*

*Тебе все говорят Нигяр-ханым.*

*А я – Нигяр!*

*Мне кажется, слово «ханым» будет преградой для нашей давней дружбы, любви.*

*Ты все эти годы жила в моих мыслях, воображении всегда с той же искренностью.*

*На днях я услышала, что ты заболела.*

*Я сама в больнице, поэтому не смогла прийти с тобой повидаться.*

*Соловушка! Тебе болезнь не к лицу: ты ведь поэт, певец, а значит – сильна, вечна.*

*Однажды я тоже сильно болела. Надежды на выздоровле­ние было мало. Тогда моя любовь к жизни, вера и свет поэзии зажгли по одному все огоньки, погашенные недугом. Я верну­лась к жизни. Снова больна, но надежда моя на жизнь велика. Ты тоже крепись. Судьба дала нам такое незаменимое богатство и силу, как поэзия. Пусть пламя, огонь поэзии спалит все козни болезней. Зажжет в твоем сердце светильники здоровья, бодрости.*

*Аминь! Целую тебя!*

*Желаю тебе скорого выздоровления. Твоя сестра-поэтесса, твоя подруга*

Мирварид Дильбази»[[19]](#footnote-19)

Все мы чувствовали: срок подходит к концу – она дожи­вает последние дни. Решили забрать ее домой. Врачи согласи­лись с нашим решением. Наутро после дня ее рождения – 30 июня – мы взяли ее домой. Сказали, что врачи советуют сменить обстановку, будут продолжать лечение дома. Она не возражала. Да разве была в состоянии возражать? Перед выпиской из больницы она почему-то дала Фидан свое кольцо:

– Возьми это кольцо, я дарю его тебе.

Поразительно, в этой пожилой женщине, голодавшей на протяжении трех месяцев, неспособной самостоятельно двигать­ся, с трудом говорившей, было столько духовных сил, воли, был юмор, – она все еще сохраняла качества, поддерживавшие всю жизнь и ее самое, и всех нас.

Когда машина доехала до дому, она спросила:

– Вы привезли меня домой? А я думала, хоронить везете.

Фидан в ее же тоне, с шутливой резкостью сказала:

– Разве живых людей хоронят, Нигяр?

А дома она вдруг снова обратилась к Фидан:

– Раз я не умираю, верни мое кольцо, больше я его тебе не дарю.

Опять шутила, но это, кажется, была уже ее последняя шутка. Все мы – я, мои сестры – ночевали в доме родителей. В первую ночь ее пребывания дома в комнате, где она лежала, дежурила Тарана.

Утром 1 июля – ровно через три месяца после смерти отца – на рассвете Тарана взволнованно позвала меня.

Обычно сдержанная и спокойная, она была в растерянности.

– Анар, иди скорее.

Я побежал в комнату, где лежала мама. В ее широко раскрытых глазах был какой-то неземной, потусторонний ужас.

Она смотрела на меня в упор.

– Что с Расулом? – спрашивала она, как человек, знающий истинный ответ.

Тарана совершенно растерялась, этот мамин вопрос, заданный ранним утром, действительно вызывал чувство жути. В этот миг и меня обуял ужас. Но я не мог поддаться этому чувству.

– А что с Расулом? – сказал я – Вот сейчас поеду к нему в Мардакяны.

Медленно и тихо произнося слова, она сказала:

– Ведь ты никогда меня не обманывал. – Как видно, она долгое время готовила эту фразу, этот убедительный довод: властью этой фразы хотела вырвать у меня истину. – Скажи правду, что случилось?

До сих пор не могу понять, почему в течение трех месяцев она верила всем нашим рассказам по поводу папиного здоровья, а 1 июля, рано утром, с таким упорством и настойчивостью хотела узнать правду и, значит, брала под сомнение все наши выдумки. Возможно, не верила больше ни одному нашему слову. Во взгляде ее было что-то такое, что невозможно описать слова­ми: как будто все – папино небытие – видела своими глазами.

Перед тем как привезти маму, мы привели дом в порядок.

Не осталось ни одного следа, ни одной приметы траура. Все в квартире было так, как они ее оставили, уезжая. Так откуда же, как возникло в сердце мамы подозрение после первой же ночи, проведенной в собственном доме?

– Внизу ждет машина, – сказал я. – Я сейчас вот еду в Мардакяны, к Расулу. Через два часа вернусь.

Не знаю, поверила ли она этим словам, но больше об отце не спрашивала.

Днями на час-два я отлучался, бывал на студии, мы запи­сывали музыку к фильму «Узеир Гаджибеков», рассматривали эскизы костюмов.

Когда я возвращался домой, она говорила:

– Что ты за сын? Оставляешь маму здесь, уходишь и пропадаешь. Целые дни тебя не вижу (я отсутствовал всего два-три часа, она уже путала время).

Последние два дня она уже не говорила, только всплески­вала руками. Это был удивительный жест – ослабевшая до пре­дела, она находила в себе какие-то силы и взмахивала руками, как будто хотела взлететь. Как будто хотела взмахнуть крыльями, взмыть, преодолев притяжение постели, к которой была при­кована более трех месяцев, взлететь, как взлетала «в своих снах, когда бывала журавлем»,

Как будто хотела подтвердить свои когда-то написанные строки:

Я не говорю, чтобы, когда я уйду из мира,

на родине осталось мое прославленное имя.

Я хочу, чтобы осталась только печальная греза

и еще стремящиеся взлететь

два моих крыла.

По вечерам приходили родственники, подолгу сидели, отели поддержать нас, предлагали помощь. Но чем они могли мочь? Вообще, кто мог нам помочь?

Богатырского сложения мамин брат геолог – дядя Рашид – робко спрашивал:

– А что говорят врачи, никакой нет надежды?

Ближе к полуночи все расходились, и оставались только мы: ее дети. Как будто впадали в другое временное пространство – в далекие годы нашей совместной семейной жизни; ведь уж столько лет мы все жили врозь – у каждого был свой дом, свой очаг, своя семья. Сколько ночей уже мы не смыкали глаз, – это было жуткое, непереносимое состояние – находиться у постели обреченной матери, знать, что она уходит от тебя, и не быть способным хоть что-нибудь сделать. Не уметь остановить, задержать время, оттянуть, отсрочить последний час.

Мы и разговаривали, и молчали. Молчали об одном и том же. Наши внутренние миры сомкнулись – каждый уходил в свой собственный мир, но в эти ночи наши миры сливались, стано­вились нашей общей памятью, – наше детство, живой отец, здоровая мама, далекие счастливые дни далеких счастливых лет, когда все мы жили под одной крышей.

В ночь с девятого на десятое июля мы почувствовали, что это ее последняя ночь. В полночь родственники разошлись. Рауф ушел вечером, я позвонил, чтобы он вернулся. К часу ночи состояние ее совсем ухудшилось.

Мы вызвали «скорую помощь».

Врач сказал:

– Что мы тут можем сделать? Это агония.

Сделали укол, уехали. Мы сидели вокруг мамы. Она дышала очень тяжело.

Вдруг дыхание стало тише. В глазах Фидан появилась на­дежда, она подумала, что состояние немного улучшилось. Дыха­ние прекратилось. Я понял. Это был конец. Рауф поднес зеркало к лицу. Дыхания не было. Отмучилась.

– Мы остались без мамы, – сказала Фидан, разрыдалась, обняла Тарану.

– Я не могу плакать, – сказала Тарана. – У меня не оста­лось слез.

Только в эти часы мы сообщили друг другу, что смертный приговор, вынесенный врачами, был известен нам всем.

Тарана взглянула на меня и Фидан, сказала:

– Вдруг и с вами что-нибудь случится, что тогда я буду делать?

Все эти бессвязные слова, разрозненные, бессмысленные фразы, которые мы произносили в первые часы маминого небытия, будто раскаленными щипцами выжжены в моей памяти – каждую минуту, каждое слово этой ночи я помню, как будто это было вчера. И внезапную истерику Фидан, и состояние окаменевшей от горя Тараны.... Ближе к утру я позвонил Земфире.

Она всхлипнула в телефон:

– Когда?

– Три часа назад, – сказал я.

– Почему ты не позвонил мне ночью?

Через некоторое время я позвонил нашему родственнику Фикрету.

Когда наступило утро, я позвонил Эльчину.

У меня есть несколько близких друзей, все мне дороги, я никоим образом не хотел бы их противопоставлять друг другу. Но и в день папиной кончины, и в ночь, когда умерла мама, первым из всех я вспомнил Эльчина.

Дом мало-помалу наполнялся родственниками.

В течение ста дней дом второй раз одевался в траур – на зеркала накидывались черные покрывала, от соседей приносились столы, стулья.

Начиналась вся та суета, которая сопровождает смерть.

Мир, открой мне одну свою тайну,

Отчего ты сияешь, отчего гаснешь?

Взвалив на спину такой груз,

Как поворачиваешься вокруг своей оси?

В Доме актеров состоялась траурная церемония.

Здесь место моей работы, редакция «Гобустана» помещается тут.

Фойе, где я проходил ежедневно, оделось в черное – это был траур по моей маме. Сцена зала была заставлена траурными венками. На этой сцене я открывал, проводил, закрывал десятки собраний, на этой сцене демонстрировались мои спектакли, фильмы. Теперь на этой сцене среди траурных венков стоял мамин гроб, висел мамин портрет в черной рамке.

Траурную панихиду открыл Мирза Ибрагимов. Выступили поэты, писатели, артисты.

– Мы принадлежим земле, – сказал в своем выступлении Фикрет Годжа, – но земля не принадлежит никому. Сегодня вся азербайджанская земля, распахнувшись руками Расула Рза, принимает Нигяр-ханым.

Второй раз в течение ста дней я чувствовал на своем плече тяжесть гроба. Мы несли его по улице Хагани – с этой улицей связаны тысячи воспоминаний моей жизни. В юные годы по этой улице я провожал домой мою невесту, на этом углу ждал свидания. Впоследствии мы получили квартиру на том конце этой улицы – по этой улице я ходил из нашего дома к отцу, теще, в Союз писателей, к месту работы, в «Гобустан».

Сегодня по этой улице проходит последний путь моей матери.

Через несколько дней я снова буду ходить по ней домой, на работу.

Маму мы похоронили на азербайджанском кладбище, рядом с ее родными. Здесь похоронены и ее бабушка Хадиджа-ханым, мама Джавахир-ханым, дядя по матери Фаррух Рафи­бейли, два дядиных сына.

Когда тело опустили в могилу, сестры мои бросили туда отрез – мама собиралась шить себе платье из этой ткани.

В изголовье, изножье, сбоку от новой могилы шумели деревья. Эти деревья посадила она сама – у могил своей матери, бабушки.

Ничто – ни литературные битвы тридцатых годов, ни годы учения в Москве, ни война, ни светлые или черные дни последующего периода – никто и никогда не могли разлучить Расула Рза и Нигяр Рафибейли,

Ни жизнь не смогла разлучить их, ни смерть – Расул не узнал о неизлечимой болезни Нигяр. Нигяр не узнала о кончине Расула. Расул, не будучи сам на этом свете, посылал Нигяр цветы в день рождения, поздравлял с награждением. Нигяр слушала новые стихи уже ушедшего из мира Расула, посылала ему приветы, посылала сирень, жаловалась на его «невниматель­ность».

Ни жизнь, ни смерть не могли их разлучить. Их разлучили лишь после смерти.

Я ведь не насытилась свиданием с тобой,

Меня сильно угнетает разлука.

Что, если бы однажды, проснувшись,

Я увидела, что стала обманом разлука...

Мы ведь были одной душой в двух телах.

Если радовался он, смеялась и я.

Когда улетел соловей встречи.

Камнем на сердце осталась разлука.

(Нигяр Рафибейли)

Я был целым гнездом,

Ветер подул, разметал,

Я бы с тобой не разлучился,

Нас насильно разлучили.

(Расул Рза)

...И я ничего не смог сделать. Ничего мне не удалось... ...Всем своим существом я чувствовал бесконечную беспомощность перед теми, кто управляет не только живыми, но – мертвыми, кто указывает бренным, где им жить на земле и определяет, где хоронить мертвецов – я осознал, насколько мы зависим от них.

Ведь мы никого не просили, чтоб отца похоронили в первой аллее почетного захоронения. И сам он этого не желал, и не раз говорил и писал, что является противником распределения людей на уровни. Если бы они были похоронены не в Первой или Пятой аллее, а где-нибудь совсем далеко, но все же рядышком, вместе, это было бы и данью их памяти, и произвело бы хорошее впечатление на почитавших их людей, и стало бы маленькой отрадой для членов их семей.

Ведь их совместная жизнь являлась не только бытовым фактом, она была и поэтическим символом духовности, куль­туры, верности и преданности, азербайджанской семьи. Этот символ мог бы быть предметом гордости и почитания для представителей любого народа.

Но дело, не только в символах и духовности. Нигяр Рафибейли имела официальное право быть похороненной около Расула Рзы. До того дня многие покойные писатели и поэты, в том числе все, кто был удостоен званий Народных писателей и поэтов были похоронены в Первой почетной аллее. Все кроме мамы.

Почему? Ответ этого сложного вопроса до сих пор мне не ясен.

\* \* \*

У нас много семейных фотографий. Время от времени в разные периоды мы рассматривали их и знали все назубок, Но в те дни, снова перебирая фотографии для некролога, для увеличения, для траурной церемонии, внезапно обнаружили одну мамину фотокарточку, относящуюся к 30-м годам – каким-то чудом до сих пор никто из нас ее не видел. Все ее карточки юных лет необычайно прекрасны, но в этой – какая-то особенная прелесть, нежность, красота...

Как получилось, что до сих пор никто не видел этой фотографии? Как будто фотография сама таилась в течение стольких лет, чтобы уже после потери мамы подарить нам еще один ее облик, еще одну неожиданную встречу с ней.

Потом эту фотографию показали в телевизионной пере­даче, посвященной маме.

Эту фотографию поместили в ее последней книге «Если вспомнюсь тебе в один печальный вечер».

Эта фотография висит над моим письменным столом рядом с папиным портретом.

Но в тот траурный день мы все увидели ее впервые, и когда опускали саван в могилу, на могилу клали камень, поверх набрасывали лопатой землю, у меня перед глазами стоял живой образ мамы. Я видел не измученное болезнями, страдающее, изможденное лицо ее последних месяцев и дней, а молодой, одухотворенный, красивый облик. Как на той фотографии.

...И в эти мгновения я думал о ней не как о моей маме, а как о моей дочери. Очень юной, очень хрупкой, очень нежной дочке, которую я, увы, не смог уберечь.

Я думал о ее тернистой судьбе: когда-то в дворянской интеллигентной семье родилась девочка. Другая дворянская семья, заявив: «эта девочка будет нашей невесткой», зарезала жертвенного барана в связи с ее рождением. Но подули ветры, хлынули сели, мир изменился. Семилетняя девочка осталась без отца, те, что резали жертвенное животное, рассеялись по свету.

14-15-летняя девочка, расставшись с матерью, братьями, приехала в Баку, ни на кого не опираясь, ни от кого не ожидая помощи, сама, своими силами, умом, волей зарабатывала себе свой хлеб насущный. И в поэтическом сердце юной девушки не поселились ни злоба, ни чувство мести. Наоборот, ее душа была полна света, она видела мир в радужных красках, шла к зорям новой жизни, тянулась к теплу новых очагов. Когда ей было 17 лет, а была она нежной, тонкой, как хрупкая веточка, некто чиновный захотел оборвать ее крохотные крылышки.

Началось состязание несправедливых нападок, и все она вынесла, все стерпела – и насмешки, и обиды, и угрозы.

Однажды в ее жизнь вошел светлоглазый юноша – автор «Большевистской весны», светлоглазый молодой поэт с пролетарскими идеями, комсомольскими убеждениями, по-азаповски рубивший сплеча – сумел завладеть сердцем молодой поэтессы, они поженились, и всю жизнь она была верным другом поэту – жена, единомышленница, соратница. Они прожили вместе и хорошие, и суровые дни. Большую часть своей жизни она провела вдали от письменного стола, в семейных заботах, в заботах о муже, детях, потом внуках. Трудно даже представить, сколько бессонных ночей провела она у постели больного мужа, ухаживала за ним до тех пор, пока сама не свалилась. Она до конца выполнила свой человеческий, женский, материнский долг.

...И теперь, после смерти, после смерти мужа и после своей смерти – пройдя до конца свой жизненный путь, исполнив до конца свой долг, она снова вернулась к своим. К тем, с кем рассталась сорок лет назад, когда ушла в другую жизнь.

Снова возвратилась к своим родным Рафибейли – к людям, которых всегда нежно любила, – рядом с нею мать, бабушка, дядя, двоюродные братья...

И еще тетя Гейчек, чья могила затерялась...

Фидан сказала:

– Я знаю. Она сама так захотела, – она имела в виду маму. – Ее дух пожелал быть похороненным там. Ведь она не любила помпы. Она сама пожелала это тихое место, рядом со своей мамой и близкими. Ты и сам знаешь, что когда она чего-то очень сильно желала, всегда добивалась своего. Помню, как однажды сказанные мной в детстве слова очень понравились ей: «Нияра, если ты очень захочешь, то сможешь остановить даже войну в Корее».

Возможно, в словах Фидан присутствовал некий элемент мистики, но ведь и сама мама верила в такие вещи. И вера в бога, в ангелов и духов перешла к ее детям.

Я, конечно, человек нерелигиозный, тем более не суеверный, не признаю религиозных догм, а когда восхищаюсь эстетической стороной религиозных обрядов, остаюсь безраз­личным к их вынужденному исполнению. Но в то же время я абсолютно уверен, что существует некая сила, которая управляет подвластным и неподвластным нашему пониманию миром. И я верю в бессмертие человеческой души, ее вечную жизнь и способность переходить из одного состояния в другое. Поэтому я не могу согласиться с тем, что расстался со своими родителями навечно. И я совершенно уверен, причем, осознаю это не только умом, но и всеми чувствами, что когда-то, где-то, в какой-то форме, но мы обязательно встретимся и тогда уже вдоволь наговоримся о событиях, произошедших за те дни, месяцы и годы, что мы провели в разлуке. Как в те дни, когда мы возвращались из дальних поездок...

Мы будем обсуждать то, что я пишу сейчас, и я буду принимать их критические замечания, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, что-то буду объяснять, от чего-то защищаться...

\* \* \*

Через несколько дней после маминых похорон каждый из нас ушел к себе, в отцовском доме осталась семья Тараны. Тарана рассказывала, что однажды среди ночи в другой комнате внезапно зажегся свет.

Прошло несколько дней, и такой же случай повторился в ломе Фидан – ночью у них внезапно зажегся свет.

Через много месяцев, в марте 1982 года, по телевизору шла передача о маме. Я смотрел эту передачу у себя дома. Был холодный день, окна и балконная дверь были плотно заперты.

Вдруг, когда с экрана послышался голос мамы, балконная дверь раскрылась настежь.

И не было никакого ветра, никакого дуновения...

\* \* \*

Но бывают и такие дни, когда дуют злые бакинские ветры, с неба на землю льются ливневые дожди.

В такие дни мне кажется, что им холодно в могилах, зябко...

\* \* \*

В 1979 году я ездил в Индию. Попросил моего переводчика сводить меня к йогам. В шесть утра мы пришли в Центр йогов в Дели. Главный йог Свами Манучарака разрешил участвовать в сеансе меди­тации – погружения в размышления.

Мы вошли в келью с голыми белеными стенами – сам Главный йог, я, моя переводчица Наргиз Мисра, два индийца и одна японка. Келья была полутемной. Главный йог уселся, особым образом скрестив ноги, и нам предложил сесть так же. Он громко читал тексты древних мантр, потом сказал: «А теперь мы некоторое время должны помолчать, погрузиться в думы, в размышления. Вспомните самые чистые, самые светлые дни, часы в вашей жизни».

В тишине и полумраке я никак не мог сосредоточиться. То смотрел на застывшие лица Главного йога, участников сеанса, то думал о том, что через два дня поеду в другие города страны, затем вернусь на родину, в Москву.

Двери моего внутреннего мира никак не открывались. Три ли минуты прошли, пять ли, не знаю, но вдруг безо всяких усилий с моей стороны перед моим внутренним взором как бы открылась совершенно отчетливая, ясная картина.

Мы с мамой идем по бакинской улице, называемой Кри­вой, но улица эта – не теперешняя, а оставшаяся под грудой лет, – нет теперешнего кафе «Наргиз», на его месте кафе-мороженое, сколоченное из коричневых листов дикта, с круглыми, как иллю­минаторы, окошками. Между этим кафе и теперь расширенным, в то время размещавшимся на более тесной площади садиком Парапетом, стоит трехэтажное здание; на первом этаже – магазин, продаются книги, карты. Перед ним находится летний кинотеатр «Азербайджан», одна стена летнего зала целиком заросла зеленым плющом. Эта стена – стена жилого дома; сквозь зелень по вечерам виднеются окна цвета крепкого чая, из этих окон жильцы дома, вытягивая головы, смотрят вниз, на экран, на фильм. Этим людям я завидовал – каждый день из своего дома они смотрят кино! «Знак Зорро», «Капитан армии свободы» («Вива, Вилья!») – не помню, еще какие фильмы. У входа в кинотеатр, по правую руку – еще один аттракцион – показывают женскую голову без туловища. Двоюродный брат, который старше меня на шесть лет, объясняет, что эта иллюзия создается посредством зеркал и черных бархатных штор.

В той стороне, рядом с кинотеатром «Араз» – где теперь ресторан и чайная, – спортивная площадка, из-за забора мы смотрим игру в баскетбол.

Кинотеатр «Араз» назывался прежде «Спартак», «Азер­байджан» – «Красный Восток», «Вэтэн» – «Пролетарий», Баку» – «Баккомуна», «Низами» – «Художественный», «Бахар» – «Форум». Названия этих кинотеатров сменил мой отец, когда работал министром кинематографии.

Эти кинотеатры, их прежние названия, фильмы, показы­ваемые на этих экранах, эпизоды из этих картин, вспоминаемые с такой реальностью, будто это действительно прожитые дни, часы жизни, персонажи, атмосфера, мелодии, развлечения тех лет, разрушенные и исчезнувшие здания, инвалиды, контуженные первых послевоенных лет, точильщики ножей, бродившие по дворам со своими станками с абразивными колесами, возгласы «старывеш!» – все это, затерявшееся в закоулках сознания, – в один миг встало перед моими глазами в полумраке йоговской кельи.

– Вспомните самые чистые, самые светлые дни, часы своей жизни, – сказал Главный йог.

Мы проходим с мамой по улице Кривой, мимо давно разрушенных цветочных, шляпных магазинов. На маме зеленовато-серое буклевое пальто, на голове – черный берет. Она держит меня за руку. Неожиданно я спрашиваю у мамы:

– А сколько мне лет?

– Три, – отвечает она.

\* \* \*

Многие главные и важные истины о мире человек узнает до пяти лет. Потом, хоть проживи до ста, остальные 95 лет лишь подтверждают или опровергают усвоенное в это первое пятилетие.

Порой я могу оживить в моем внутреннем мире со всей наглядностью не только свое прошлое, но и картины прожитой мамой жизни. Как будто внутри меня загорается свет, кино- проекторная установка пускает пучок лучей на внутренний экран, и там совершенно ясно проходят друг за другом непрожитые мною лично дни.

Удивительное дело, воспоминания отца я не могу «присво­ить» в такой же степени. Возможно, это связано с пока еще не объясненным физиологическим свойством. Возможно, человек в материнском лоне воспринимает извилины, клетки памяти материнского мозга, впитывает их своим мозгом, присваивает.

Я вижу дни до моего рождения – Москву 30-х годов, годы маминой учебы. Московские улицы полны людей, цветов, Москва встречает челюскинцев, вернувшихся после покорения полюса. Звучит самая популярная и самая характерная песня того периода: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ».

И еще другая песня звучит у меня в ушах: «Бандьера росса».

И еще одна песня – песня, написанная Д.Шостаковичем для фильма «Встречный». «Нас утро встречает прохладой, нас песней встречает Москва, кудрявая, что ж ты не рада счастливому пенью гудка». Мелодии, слова всех этих песен мама привезла нам из Москвы 30-х годов, привезла в Баку, порой напевала, и они стали мне знакомы задолго до того, как я услышал эти мелодии с экрана, в эфире.

Московские улицы заполнены этими песнями, заполнены смехом, цветами, маем, весной. Мама в белых носочках, в белых парусиновых туфлях, в платье из черного крепдешина с белым- цветами, талия перетянута тоненьким белым пояском, на голове – берет.

Маме 22-23 года, и рядом с ней приехавший в Москву погостить ее одиннадцатилетний двоюродный брат. Они гуляют по парку Горького, Вдруг поднимается шум. Все бегут в одну сторону, брат тоже, вырвавшись из рук мамы, бросается туда, куда бегут люди: оказывается, Сталин, другие руководители пришли в парк, люди окружили их. Это пока первая половина 30-х годов.

Конечно, я все это так наглядно представляю потому, что мама сама рассказывала нам, я видел ее фотографии в этом платье, в этом берете, все это так, но мне кажется, что весенняя, утренняя, полная надежд атмосфера тех лет, вера в испанских республиканцев, симпатии к Долорес Ибаррури, радость по поводу полетов Чкалова и эпопеи челюскинцев – свет всех этих праздников, торжеств, ощущенье тех лет передались мне с материнским молоком, как будто сам я прожил те годы.

Во мне живут не события, факты тех лет, а мироощущение, эмоции. Последовательность событий можно изучить и по историческим книгам, газетам. Хранить же все это в своем внутреннем мире, вспоминать как свое личное, индивидуальное прошлое – совсем иное дело.

Я никогда сам не видел на сцене пьесу Арбузова «Таня» с Бабановой в главной роли. Этот спектакль видела мама. Но мне кажется, что я сам слыхал песню, которую пела Таня.

Мама нам рассказывала, что в годы учебы в Москве у нее часто были материальные затруднения. «Однажды у меня не было одного-двух рублей, чтобы пообедать. Другого выхода не было, я решила попросить у одного из учившихся вместе со мной студентов-азербайджанцев три рубля в долг. Встретила его на лестнице нашего института. Он меня не видел, спускался вниз. Но я не смогла подойти к нему. Смотрела с третьего этажа вниз и не решалась позвать. Когда он дошел до первого этажа, я наконец заставила себя позвать его сверху, громко крикнула его имя. Он услышал, а когда обернулся, посмотрел наверх, я отступила, спряталась. Он меня не увидел, удивленно огляделся ушел. В тот день я осталась голодной».

Фидан мне сказала, что эту сцену, о которой мама рас­сказывала всего один раз, и она будто видела своими глазами – и лестницу, и как, она окликала его с третьего этажа, и как человек обернулся, и как мама отступила и спряталась.

Я тоже вижу эту сцену с той же наглядностью.

Я отправился в ЗАГС на улице Хагани. Сдал их паспорта. Паспорта, в которых значатся даты их рождения, регистрация брака, прописка. Есть печати о въезде и выезде в Москву, визы различных стран, в которых они побывали. Есть имена их детей.

Я сдал эти тоненькие книжицы, с событиями их жизни.

Взамен мне выдали два свидетельства о смерти.

\* \* \*

На нашем телевидении подготовили очень трогательную передачу о маме.

Земфира плакала во время этой передачи.

– Все-таки они были счастливые люди, – сказала она, – любили друг друга, были довольны своими детьми, увидели внуков. Теперь их самих нет, но остались стихи, песни, книги, остались голоса.

На улице меня остановил незнакомый человек.

– Расул-муаллим ушел, сказав свое слово: «Родина разве может быть жребием, разве может быть подарком?» Почему мы не хотим понять, что поэты не похожи на других людей, надо иногда считаться и с их капризами, быть снисходительными к их слабостям.

Пожилая женщина, работавшая в одном учреждении, утешала меня таким образом:

– Вы не очень переживайте. У певицы X. совсем молодого сына убили, вот это страшное горе. А вашего отца похоронили с такой помпой, с такими почестями. А вы говорите...

– Я ничего не говорю, – прервал я ее, – прошу, чтобы и вы ничего не говорили.

Как будто можно сопоставить горе одного с горем другого, мерить какими-то общими мерками. Будто тяжесть утраты измеряется числом лет. Будто чье-то самое страшное несчастье может умерить твою беду...

Однажды ночью, когда я приводил в порядок свои книги, из бумаг выпало письмецо. Это был мамин почерк. Когда-то она написала папе: «Термос на кухне, хлеб – в кастрюле».

У папы есть стихотворение «Древняя рукопись».

Листы блеклые, желтые,

несколько страниц стерто:

у скольких листов края,

не выдержав тяжести лет,

искрошились, стали пылью.

Однако остались

слабая улыбка,

одна слезинка,

мечта, надежда...

В этой маминой маленькой бытовой записочке нет ни улыбки, ни слез, ни надежд. Просто информация для папы, возвратившегося поздно ночью домой: «Термос на кухне, хлеб – в кастрюле».

Этот листок с ладонь величиной ценен мне как самая древняя рукопись. Я живо представляю себе, как отец в ту ночь пришел домой, увидел записку, прошел на кухню, налил из термоса чай, съел кусочек хлеба.

Иду постричься в маленькую парикмахерскую около Книжного пассажа.

– Покойного отца твоего тоже всегда я стриг и брил, – говорит парикмахер.

Начинает работать...

Я думаю: несколько месяцев назад эти руки касались папиной головы, лица.

\* \* \*

«Уважаемый Анар!

Наверное, Вы получаете много писем от читателей по поводу Ваших произведений. Я, можно сказать, читала их все. Но признаюсь, что поэзию люблю больше, чем прозу. Мне кажется, что моя влюбленность в поэзию начиналась со следую­щего стихотворения моего любимого поэта Расула Рза:

Пусть говорят что хотят,

поэтический язык ясен.

Хоть о радости,

хоть о печали пиши,

так ясен этот язык,

дай прочесть сто раз невежде,

все равно ничего он не поймет.

И Физули, и Сабира заставил меня полюбить этот пре­красный поэт. Нигяр-ханым своими стихами, посвященными ее гордости – первенцу, дочкам и внукам, давно сделала мне родной свою семью.

Жизнь как Нигяр-ханым, так и ее друга души поэта Р.Рза, как написано в «Жизни чинары», – это жизнь, «ни перед кем не склоняющая голова, чьи подъемы славны, спуски стойки», жизнь, которая всегда будет жить в памяти.

Короче, я разместила в глубине моей души одного из них как поэта и наряду с этим тонкую, нежную женщину, мать с трепещущим сердцем, верную супругу, а другого – как гранитный памятник, прикрывающий молодых поэтов орлиным крылом, стоящий маяком на их пути, сосредоточивший в себе все человеческие качества.

...Очень прошу Вас, если сочтете возможным, пошлите мне в подарок от Вашего имени моих самых любимых поэтов. Я поставлю их на моих книжных полках рядом с газелями Физули, с «Хопхопнаме», украшу их нарциссами и сиренью и еще моей бесконечной любовью к ним, поверьте.

С уважением

Раиса Гейдарова, инженер-проектировщик.

Баку».

«Дорогой Анар. Только сейчас узнала о кончине дорогих моему сердцу, Расула Рза и его супруги. Глубоко потрясена, разделяю Ваше большое горе. От души желаю Вам утешения в творчестве, таком высоком и нужном народу, как творчество Вашего незабвенного отца.

Ваша Мариэтта Шагинян».

«Здравствуйте, наш дорогой брат Анар!

Я очень далекая от вас читательница Ваших родителей, освященная, совершенствующаяся чистотой, сочащейся из божественного родного языка, Ваша чужестранная сестра! Долгие годы на этой стороне я читала с помощью Шахина ваши произведения и плакала! Шахин – мой брат. Два месяца назад Шахин прислал мне ленту с записью. На уроке литературы народов СССР я ее прослушала. Включила в фонд! Только тогда я узнала. Заплакала. Я разделяю горе членов Вашей семьи и Ваше! Передайте привет Вашим дорогим сестрам и супруге.

Прошлой осенью из Тебриза в поселок Бюльбюля поехала одна старая женщина. Она очень любила Вашу маму, Нигяр-ханым. Вас ей не удалось разыскать и повидать. Шахин с большим трудом сводил ее на могилу Нигяр-ханым. Бабушка положила на могилу цветы!

Я даю уроки родного языка внуку Шахрияра![[20]](#footnote-20) Эту землю привез мне его внук, чтобы положить в дом-музей Расула Рза... Шахрияр и я просим у Вас произведения обоих поэтов и одно из ваших собственных. Пошлете нам через Шахина. Большое спасибо.

С уважением

Чинара из Тавриза».

 «Дорогой Анар!

Держись крепко и стойко в том, что обрушилось на твою прекрасную душу, – извини, что я не сразу откликнулся на все то, что тебя постигло и постигает. Здесь был Аббас Абдулла, и мы много говорили о тебе, о твоей семье, о Расуле Рза. Ты – прекрасный человек, редкий и славный, ты выдержишь. Всегда с тобой, хотя и не всегда отзываюсь.

С любовью. Твой друг

Иван Драч. 9.06. 81».

«Наш дорогой брат Анар!

Смерть выдающегося представителя азербайджанской советской поэзии, простого и великого человека, талантливого и оптимистического по духу поэта, достойного сына нашего народа, Вашего любимого отца (если не возражаете, и нашего отца тоже) Расула Рза бесконечно опечалила коллектив педагогов и учащихся нашей школы, как и весь азербайджанский народ.

...Мое ученическое перо не слушается меня, как будто и оно не верит этим печальным выражениям, не может их писать.

Расул Рза был такой поэт, что трудно поверить, что его нет. Смерть нашего большого поэта потрясла весь азербайджанский народ. Этот неожиданный удар нанес неисцелимую рану моему сердцу. Он был сыном родной земли – черпал у нее вдохновение, в ней и оказалась его могила,

Смерть чужда его имени, жизнь поэта продолжит народ. Хотя физически Расул Рза ушел от нас, он никогда не уйдет из наших сердец.

Как ни тяжела эта утрата, все же волевой человек должен суметь выдержать это, и такая воля особенно важна для Писате­лей. Ведь они думают об обществе. Писатели должны писать произведения оптимистического духа. Мы хорошо знаем, что сюжеты произведений берутся из нашей сегодняшней жизни. И поэтому писатели, чтобы не наносить ущерба течению жизни, во имя своих произведений должны забывать даже самую большую свою скорбь.

Вот почему, уважаемый писатель, мы, читатели, ждем от вас оптимистические по духу произведения. Чтобы писать оптимистично, надо уметь быть оптимистом.

Пусть эта тяжелая потеря не оборвет Вашей творческой решимости. Смерть Расула Рза пусть не делает Вас пессимистом, и я желаю Вам, руководствуясь его идеалом, добиться таких же, как он, успехов и завоевать еще большие достижения.

Наш брат Анар, мы желаем Вам неиссякаемого терпения, крепкой воли и больших творческих успехов.

От имени коллектива школы с глубокой скорбью и пе­чалью

Дильшад Османова

Белоканский район, школа имени Нариманова в селе Махамалар».

Моя маленькая сестричка Дильшад. Большое тебе спасибо за утешения в письме, написанном простым ученическим языком. За твое ободрение – большое спасибо. Постараюсь следовать твоим словам, собрав свою волю, постараюсь не поддаваться пессимизму, буду писать оптимистические произведения. Через полтора года после папиной и маминой смерти я даже написал комедию «Дом наискосок» – куда уж оптимистичней...

\* \* \*

Мне кажется, что я был моим родителям хорошим сыном: возможно, в самом раннем детстве и надоедал им немного бесконечными вопросами: «что это?», «что вон то?», «почему это так?». Возможно, порой их утомляли мои капризы, шалости. Возможно, мои плохие или средние отметки в школьные годы, моя лень, упреки учителей, особенно неудачи по музыкальным предметам доставляли им много неприятностей, но, повзрослев, я старался ничем не огорчать их. Если и были беспокойства из-за меня, то вины моей в этом нет. Разумеется, когда я стано­вился мишенью для критики, они это переживали.

Когда в июле 1967 года появилась резкая критическая статья по поводу «Белого лимана», мама написала мне сти­хотворение:

*Если в детстве тебя по ножке ударял камень,*

*я говорила, пусть он ударит по моему сердцу.*

*Дыхание ветра, урагана*

*пусть тебя не коснется,*

*на меня пусть дует, говорила я.*

*Теперь тебе сердце ранят,*

*я говорить не могу.*

*Зачем я дожила*

*до этого дня, не знаю.*

Когда я подвергался нападкам на различных уровнях, отец это тоже переживал. Но я в этом, повторяю, не виноват.

Я старался всегда, насколько это возможно, изолировать их от своих неудач, чтобы они по возможности не знали о камнях, бросаемых в меня. Старался оградить их от всяческих неприят­ных сведений, и, в частности, касающихся меня.

В пределах моих возможностей и в Баку, и в Москве занимался их литературными делами. Когда болели, заботился о них, делал все от меня зависящее для их излечения. И после их кончины сделал все, что мог для их памяти. Что не смог сделать, не смог, бог свидетель.

Во всяком случае, я никогда не был им плохим сыном.

И все же...

И все же меня ни на минуту не покидает ощущение вины перед ними. Это чувство постоянно со мной, ни на мгновение меня не покидает.

Я чувствую себя виновным потому, что остался в живых, что продолжаю жить, дышу, ем, пью, езжу, смеюсь над анекдота­ми, сам их рассказываю, радуюсь друзьям, жизни, солнцу, любви, читаю книги, пишу произведения, – в то время как их нет.

Каждое проявление жизни, каждое мгновение моего существования мне кажется актом вероломства и измены им – ушедшим из мира.

Ужас этого ощущения в том, что это – постоянное чувство, у жизни нет перерывов, есть только конец. Пока же я не достиг конца; каждый миг моего существования будет изменой им, несуществующим.

Даже и эта моя работа. Работа, которую я пишу о них. Работа, которую я пишу без них.

*Порой смех твой вспоминается мне,*

*порой печаль, грусть,*

*все умеющее различить,*

*все умеющее вынести*

*твое сердце.*

*Как спокойно текущие воды*

*ты ушел.*

*В сердце друзей боль оставив, ушел.*

*Снова придет весна,*

*снова расцветет луг.*

*С ветвей нависнут*

*гроздья сирени.*

*Птицы*

*караванами*

*возвратятся с чужбины на родину.*

*Солнце снова родится из моря,*

*будет гаснуть за горами!*

*Трепещущая как птенчик белого голубя*

*твоя младшая дочка,*

*приникнув к груди любимого,*

*горячие слезы*

*прольет по тебе.*

*Будет горько плакать,*

*всхлипывая.*

*Потом с печальной улыбкой*

*поднимет голову,*

*вытрет слезы.*

*Снова встреча будет на свете,*

*будет горькая разлука.*

*Только ты не вернешься,*

*не вернешься с вечной дороги,*

*по которой ушел.*

(Нигяр Рафибейли)

\* \* \*

Работа над фильмом «Узеир Гаджибеков» была и спа­сением моим, и изменой. Спасением потому, что никакая другая работа, кроме суетливого, шумного, кишащего людьми мира ки­но, не могла избавить меня от всепожирающего огня горестных мыслей, воспоминаний, одно другого мучительней. Кино было моим спасением.

Но кино было и моей изменой. Ведь этот кинопроцесс начался вместе с их несчастьями, шел параллельной временной дорогой с этими бедами, сначала рядом с горечью одной утраты, потом с ужасом ожидания второй смерти в течение ста дней. Планируя съемочный период, я потерял отца, мама была жива, но я знал, что и она не доживет до конца съемок. Знал, что за время съемок потеряю, похороню маму, буду держать траур и продолжу, закончу мою работу.

Я не только знал это, но и с трезвым, беспощадным прак­тицизмом довел это до сведения руководства студии: кино – это производство, те, кто руководит студией, должны быть уверены, что никакие сердечные потрясения режиссера-постановщика не могут нарушить график работы над фильмом.

Не знаю, слабостью это было моей или силой, но я ста­рался, чтобы мои внутренние переживания никак не сказывались на выполняемой работе и той, что еще предстояла. А эту работу – создание фильма об Узеире Гаджибекове – я считал важным, нужным делом. И продолжаю так считать.

В эти тяжелые дни оператор, который должен был снимать, фильм, отказался от работы, сказал, что болен.

Дело не в том, что еще несколько месяцев назад я говорил с ним, и он с большим удовольствием дал согласие. Поскольку в это время он был занят в другом фильме, я именно ради него оттянул начало съемок на несколько месяцев, и в течение этого срока судьба послала мне такие испытания. С этим оператором в те тревожные дни я ездил в Шушу выбирать натуру, он снимал и актерские пробы. Были построены павильоны, должна была начаться съемка, и как раз в это время он объявил, что у него больное сердце.

Летом, в самый жаркий период производства фильмов, все операторы заняты, а те, что не заняты, отдыхают, набираются сил для новой работы. В эти предельно тяжелые и трудные для меня дни на студии не нашлось ни одного оператора, который протянул бы руку помощи нам в этом отчаянном положении. Кроме одного – Заура Магеррамова. Заур в это время был занят в другом фильме, но как только администрация студии разъяс­нила ему положение, согласился, включился в середине рабочего процесса (а это для оператора особенно трудное дело) и достойно снял фильм. Это был товарищеский и человеческий поступок.

Увлекшись чужой изменой, я забыл о своей. В дни, когда мама лежала неизлечимо больной – в последние дни ее жизни, – разве не изменой маме был каждый час моего отсутствия у ее постели, каждый час, который я проводил на студии?

Может быть, если я, отложив все дела, день и ночь находился бы только у маминой постели, чувство вины не ощущал бы теперь так остро... Я сказал «отложив». Значит, я не отказывался полностью от съемки, значит, отсрочив свою работу, я сидел бы у маминого смертного одра, ожидая конца? Ждал, чтобы начать съемки после ее смерти? И это было невозможно. Нельзя было сидеть и ждать. Ждать смерти...

\* \* \*

В день маминых похорон по заранее запланированному графику съемочная группа поехала в Шушу. Через неделю я тоже должен был присоединиться к ним и каждый четверг приезжать в Баку.

В назначенный срок мы отправились в Шушу. Фидан с семьей тоже поехали со мной.

\* \* \*

К вечеру мы доехали до Геокчая, остались переночевать в гейчайском доме. Были сумерки. Мы почему-то не зажгли свет.

 Трудно описать чувства, охватившие нас, когда, открыв ворота, вошли во двор, а затем в комнаты. У дверей валялись их мягкие шлепанцы. На полках стояли пузырьки с лекарствами. На столе – книга с пометками на полях, рукописи.

Я вышел в сад. В сумерках под одним из деревьев одиноко сидела Фидан. Она как бы оцепенела, погрузилась в свой внутренний мир.

Весь этот дом, весь этот сад, казалось, хранили их голоса, их дух. Весной, когда в саду цвели деревья – поспевали вишня, черешня, осенью, когда созревали гранаты, хурма, мама с папой по два-три месяца жили здесь. В выходные дни и мы приезжали к ним – все вокруг заполнялось шумом, криками, смехом внуков.

Теперь в доме поселилось их отсутствие.

В Баку, когда мы собирались в их доме, у нас порой невольно возникала иллюзия, что их только временно нет дома, они где-то в другом месте, возможно даже в Геокчае.

Теперь мы приехали в Геокчай. Их не было и здесь.

\* \* \*

Летние месяцы нашего детства мы время от времени проводили в Шуше.

Шуша – один из самых любимых мной городов на свете. Но мне кажется, что Шуша никогда не была такой ослепительно прекрасной, притягательной, как в то наше раненное лето.

После тяжелого бакинского зноя прозрачный, чистый шушинский воздух был праздником для наших легких.

Пятнистая штукатурка старых живописных домов, про­хлада лесных родников... С той стороны горы Гырх гыз (Сорока девушек), с этой – лес Топхана, вдалеке вершина Кирса, по эту сторону гора Багрыган, сорок ступеней, спускающиеся с Джадыр-дюзю к реке Дашалты, убежище Ибрагим-хана, Аг гая, склон Эримгельды, несравненный цветок Харыбюльбюль, ароматный чай из чабера, цефаларии, ромашки, резеды, сары чичек, птицы исаг-мусаг, вот уже столько веков безрезультатно зовущие друг друга по ночам, аромат роз в саду Натаван, запол­няющий все вокруг, часто начинающиеся и быстро заканчиваю­щиеся дожди, молочного цвета туманы, ползущие вдоль ущелий, потом так же медленно тающие, звуки музыки, раздающиеся отовсюду, из каждого уголка в любое время дня и ночи – льющиеся из радиоприемников, телевизоров, магнитофонов, или – живые голоса, доносящиеся с пиршеств, из леса, с Иса-булага, с Джыдыр-дюзю, – все это Шуша!

В то лето как будто все прекрасные голоса Карабаха собрались в Шуше – будто мелодии, трели впитались в сам воздух. Живущий в моей детской памяти Раста базар с рядами маленьких лавчонок превратился теперь в широкую аллею с высоким зданием гостиницы, фонтанами, цветниками.

В саду Натаван Ниязи давал симфонический концерт, пели ханенде[[21]](#footnote-21) – возможен ли в Шуше концерт без мугамата? Мы тоже привезли с собой музыку. Эпизоды фильма об Узеире снимали под готовые фонограммы его бессмертных мелодий. Произведения Узеира, истоки которых – здесь, теперь возвратились в Шушу, запечатленные на лентах и пленках.

Эпизоды, которые мы снимали тут, воскрешают детские годы великого композитора – те далекие годы, когда он слышал самых известных карабахских певцов.

Самые разные люди – в большинстве не знакомые мне люди – проявили ко мне чуткость и внимание, И потому, что я снимал фильм об Узеире, и потому, что знали о моих потерях...

Все это для меня в те дни было очень важно. К тому же это было выражением самых прекрасных, самых благородных черт моего народа – понимания, доброты, чуткости.

Когда Земфира и моя 9-летняя дочка Гюнель были в Шуше, мы однажды вечером вышли на прогулку и забрели на территорию дома отдыха. В последние годы я часто бываю в Шуше, но с 1952 года, то есть за тридцать лет, почему-то ни разу не попал на территорию Дома отдыха.

В 1952 году мы все – папа, мама, сестры – отдыхали здесь. Теперь, через тридцать лет, я невольно вернулся в те далекие годы. Давно пожелтевшие, увядшие воспоминания вдруг ожили, нахлынули.

Вот в этом доме мы жили, по этой тропинке ходили в столовую. Здесь библиотека и еще кинозал. По вечерам мы сидели под этими деревьями.

Отец вот здесь играл в нарды. На той полянке я играл со сверстниками в футбол. В то время в Шуше я очень тосковал, сердце мое рвалось в Баку.

Отец предложил мне записывать свои впечатления, опи­сывать то, что вижу. И я начал писать. Не дорожные заметки и не о Шуше. Я написал пьесу... из американской жизни.

Однажды вечером на балконе вот того дома я прочитал нашим свою пьесу. Естественно, пьеса была слабой, беспо­мощной, но отец в ней что-то увидел. Когда я кончил читать, его голубые глаза блестели.

– Так, – сказал он; не знаю, с радостью он это сказал или с сожалением. – Ты тоже стал писателем.

Именно в этот день, в этот вечер, в этот час, после этих вот слов я стал писателем.

Или не стал. Можно и так считать, я не возражаю. Во вся­ком случае моя судьба решилась в эти минуты.

Теперь, бродя по этим местам в вечерних сумерках, я сказал Земфире, Гюнель, что когда-то, много лет назад, мы жили вот в том доме.

Но этих слов было достаточно, чтобы Гюнель прижалась ко мне, и я ясно почувствовал: в эти мгновения и она в своем внутреннем мире видит то, что вижу я, чувствует то, что чувст­вую я.

Я и потом не раз поражался чуткости этой маленькой девочки. Я часто молчу, бываю задумчив, ухожу в себя, никогда она мне не мешает, не отвлекает от мыслей. Но стоило мне в те дни задуматься, как Гюнель каким-то внутренним чутьем видела мой внутренний мир, подходила ко мне, обнимала, ласкала.

– Ата, – говорила она, – бабушка с дедушкой тебе вспом­нились, да?

Да, доченька, они мне вспомнились, твои бабушка с дедушкой.

\* \* \*

1 апреля 1983 года, во вторую годовщину папиной смерти, состоялось открытие надгробного памятника. Глубоко преданная памяти отца скульптор Эльмира Гусейнова еще при жизни создала его скульптурный портрет. Теперь она с большим чувством создала и последний его памятник. Она смогла очень точно передать выражение папиного лица, его настроение в последине годы – мудрая печаль, немного усталости, немного сожаления.

Горсть земли, присланную из Тавриза, от Шахрияра, я отдал Аббасу Заманову, и он, сказав об этом несколько слов, посыпал землю на могилу.

29 июня 1983 года, в день маминого семидесятилетия, мы открыли и на ее могиле памятник. Собрались писатели, журналисты, возложили венки, выступали. Газеты, журналы опублико­вали статьи, по радио, телевидению прошли передачи. В Баку вышел папин пятитомник. В Москве, в Гослитиздате – двух­томник. Сам он его не смог увидеть.

Из разных мест приходят вести, связанные с их именами. Эстонский композитор Эуген Капп написал на папины слова романс. Турецкий композитор Тахсин Инджирчи сочинил песню на его стихотворение. Эта песня записана на пластинку в исполнении хора турецких рабочих, работающих в Западном Берлине. Пластинку прислали и мне.

В Швеции, Венгрии, Болгарии, Иране опубликованы папи­ны стихи.

В связи со смертью Расула Рза и Нигяр Рафибейли в Турции, Иране в нескольких журналах вышли статьи, опубли­кованы их стихи, фотографии. На обложках выходящего в Тегеране журнала «Ингилаб йолунда» дан большой папин портрет, несколько поэтов Южного Азербайджана посвятили стихи его смерти.

Аббас Заманов, поместивший в газете «Азербайджан муаллими» информацию об этих стихах, пишет в статье «Опять в рядах наших Расул Рза»:

«Из поступающих к нам в последнее время сведений явствует, что Расул Рза прославился на Юге как самый читаемый и любимый поэт.

Жертва террора, царившего во времена презренного Мухаммед Рза шаха, Самед Бехранги в свой тайно выпущенный в 1968 году сборник «Паре-паре» включил ряд стихов Расула. Как писала южная печать, в то время эти стихи были встречены читателями с интересом, переходили из рук в руки, широко распространялись...

Известный литератор Южного Азербайджана Гусейн Садыг, вспоминая те черные дни, пишет: «За несколько лет до славной революции нашей нации я опубликовал в книге «Образцы произведений азербайджанских поэтов» некоторые из прекрасных стихов Расула Рза, рассказывающих о судьбе различных народов. Подлые слуги Мухаммед Рза шаха из-за включения в книгу стихов Расула Рза три года не давали разрешения на издание книги. А после выхода книги саваковцы тотчас запретили продажу».

И в Северном Азербайджане десятки поэтов, прозаиков написали много стихов, поэм, рассказов, посвященных Расулу Рза и Нигяр Рафибейли. Часть их опубликована в печати, часть – в книгах этих авторов.

Радио и телевидение организовывают передачи о них, в эфире часто звучат их стихи, песни, их собственные голоса.

Пассажиры рейса Баку-Москва перед взлетом самолета слушают в его в салоне песню Полада Бюль-бюль оглу на слова Расула Рза:

*Скажи глазам твоим,*

*пусть в сон мой не приходят*

*ни яркими,*

*ни темными от слез.*

*Скажи губам твоим,*

*пусть сердце не тревожат*

*ни нежностью,*

*ни ропотом угроз.*

*Упали годы мне на плечи!*

*Не скинуть эту ношу бытия!*

*Пусть!*

*Приходи,*

*останемся с тобою*

*на вечный миг,*

*в котором ты и я.*

*Кто знает –*

*может, это лишь начало*

*всего того, что будет впереди.*

(Перевод Музы Павловой)

Кто знает, может, и так. Может, в этих словах надежды – великая правда. Может, действительно жизнь – это «лишь начало всего того, что будет впереди». Может быть...

Кто знает?

Когда я был в Шуше, на улице ко мне подошел очень юный, совсем зеленый паренек и, смущаясь, сказал:

– Анар-муаллим, можно спросить у вас одну вещь?

– Можно, – сказал я, – спрашивай.

– Это правда, что смысл Вашего имени таков: Анам (мать) Нигяр, Атам (отец) Расул?

– Правда, – сказал я, – совершенно верно. Именно так: АНАР, то есть Анам (моя мать) Нигяр, Атам (мой отец) Расул.

\* \* \*

Моя мать Нигяр, мой отец Расул! Эту работу, которую я пишу о вас, я написал вместе с вами. Не только потому, что са­мые ценные страницы ее – это ваши стихи, письма, слова. Еще и потому, что на протяжении двух долгих лет, что я ее писал, я каждый миг чувствовал ваше родное дыхание, слышал ваши голоса.

Все – море, цветы, улицы, людей, события, даже вашу кон­чину, похороны видел вашими глазами. Все эти два года вы были со мной. Как живые...

Понемногу, постепенно обучали вы меня трудным урокам жизни без вас...

\* \* \*

Мы собираемся в дни, дорогие для нас с детства – 19 мая – в папин день рождения, 29 июня – в мамин день рождения, 11 февраля – в день их свадьбы; прежде они сами собирали нас вместе, теперь собирает память о них.

Мы собираемся в их доме. Теперь в этом доме живет Тара­на с мужем, двумя маленькими дочурками; больше нас всех была привязана к отчему очагу Тарана. Тарана была последним ребен­ком в семье, ее мы любим особенно нежно. А Тарана оказалась крепче нас всех – именно она оказалась хранительницей очага, духа семьи, домашнего света.

Многие мамины качества – нежность, тонкость, пони­мание я вижу в Фидан и Таране. Некоторые черты характера, художественные вкусы, жизненные убеждения перешли к ним от мамы. В Таране больше воли, стойкости и терпения, в Фидан – романтичности, задумчивости и ранимости.

После тех кошмарных дней 1983-м году Фидан с мужем Рауфом уехали на долгое время работать в Ирак. Может быть, впервые в жизни Фидан провела день рождения мамы – 29 июля без нас, на чужбине, в далеком Багдаде. И именно в канун этого дня, в бессонную ночь все ее чувства отобразились в написанном ею стихотворении. Может быть, это первое и единственное стихотворение Фидан. Возможно, неправильно называть это стихотворением.

Это всего лишь душевные переживания нашедшие выход средством стихотворных строк. Как говорит Акрам Айлисли, на свете есть такие истины, которые иначе как стихами не выразишь.

*Этой ночью, этой ночью*

*Сгинут все страхи, кошмары,*

*Распустятся вместо них мечты*

*Распахнутся настежь райские двери.*

*Увижу тебя я живой и здоровой.*

*Протянешь руку ты*

*Погладишь шелковые волосы мои.*

*Обнимешь меня сильно*

*Скажешь: не бойся, я с тобой.*

*Отчего-то запах кеклик-оту появится в раю*

*Осколки моего разбитого сердца*

*Вдруг зазвенят внутри.*

*Застрянут комом в горле слезы*

*Когда твой голос скажет:*

*«Как ты худа. Подумай о себе».*

*Я рассмеюсь в ответ*

*Рассмеешься и ты.*

*Просто так, просто так*

*Будем мы долго смеяться.*

*Будет звучать наш радостный смех в раю.*

*В беспечном, бесстрашном, бессмертном раю.*

28 июля, 1984. Ирак

Знал об этом стихотворении я один, и Фидан очень просила меня, чтобы я никому его не показывал, тем более, не печатал. Я пообещал ей это... и, не сдержав своего слова включил его в «Без вас». Потому что чувства Фидан отраженные в этих стихах принадлежат не только ей, они являются еще одной чертой, еще одним элементом воображаемого памятника маме. Может быть, Фидан простит меня за то, что я не сдержал данного ей слова. Может быть...

\* \* \*

Перед тем как Тарана с семьей перебралась в отцовский дом, я подумал, что новая семья, новый образ жизни как бы то ни было изменят внешний облик этого жилища. Я пригласил фото­графа, попросил снять, как есть эти пустые, безлюдные комнаты – пусть останутся фотографии квартиры в том виде, в каком она была при них. Фотограф снял с разных точек пустые комнаты и вручил мне снимки.

Семья Тараны в квартире ничего не изменила. Все оста­лось так же, как при них. Я смотрю на снимки фотографа – они не будят во мне никаких воспоминаний – определенным образом расставленная мебель, и все. Фотографии – мертвы. Я прихожу в дом, и тысяча воспоминаний набрасывается на меня. Дом жив. По нему, рез­вясь, бегают маленькие шалуньи – дочурки Тараны – Нигяр и Беяз. Вместе с ними весело хохочут Гюнель и Айсель, дочь Фидан – сегодня воскресенье, и все внучки вместе в этом доме. Жизнь продолжается...

\* \* \*

Но и фотографии рассматривать я очень люблю. Никогда бы не предполагал, что фотографии так разговорчивы. Поздно ночью, когда все в моем доме спят, я выдвигаю ящик стола, вытаскиваю кучу фотографий. Не спеша, медленно просматри­ваю снимки разных лет.

Я не делаю это часто, чтобы не притупилось ощущение. Раз в три-четыре месяца.

Их фотографии, сделанные в разное время, в разных местах, одиночные, парные, снимки с нами, с другими людьми, с друзьями, родственниками, приятелями, начинают говорить.

Части этих людей уже тоже нет, но я слышу их голоса, смех.

Некоторые снимки особенно шумны. Среди ночи моя комната заполняется словами, голосами, смехом, шутками, звоном посуды, бокалов.

Одни фотографии тихи, задумчивы – я слушаю тишину. От других доносятся звуки музыки, далекой, печальной музыки. Я слышу шум московских улиц, говор дальних стран. Слышу шорох бузовнинских лоз, плеск каспийских волн, шелест геокчайских деревьев. Слышу голоса бакинских домов.

Каждаяфотография связана с тысячами ассоциаций, воспоминаний – разные дни, годы, часы долгой жизни. Сотни человеческих лиц – любимые, родные лица.

\* \* \*

Есть еще одна фотография. Она как-то по-особому успо­каивает меня.

Родители стоят на перроне железнодорожного вокзала. Уже не молодые, но и далеко не старые еще.

Куда-то уезжают. Мы провожаем их. Хотя на фотографии нас нет, но на перроне мы наверняка есть. Стоим, беседуем. Вот сейчас раздастся свисток, они поднимутся в вагон, поезд тронет­ся в путь. Мы расстанемся. Но это не вечная разлука.

Лишь временное расставание. Через некоторое время мы встретимся снова.

Я не могу примириться с мыслью, что их нет. И никогда не смогу примириться.

Я не могу принять мысль, что эта разлука навсегда, и до конца жизни не смогу ее принять.

Мне кажется, что они просто куда-то уехали. Обязательно вернутся. Мы непременно увидимся.

Поэтому я не прощаюсь с ними. Я говорю – пока. Говорю – до встречи.

Говорю – счастливо.

Я говорю – спасибо вам.

Спасибо, что вы были.

Спасибо, что вы есть.

Спасибо, что вы всегда останетесь с нами.

1981 -1983

Перевод автора и Гюнель Анаргызы

1. Все переводы, кроме специально указанных, подстрочные. [↑](#footnote-ref-1)
2. Тарана – моя самая младшая сестра. [↑](#footnote-ref-2)
3. Фидан – моя младшая сестра. [↑](#footnote-ref-3)
4. Отец тогда работал над поэмой «Физули». [↑](#footnote-ref-4)
5. Микаил Мушфиг, Абдулла Фаррук, Микаил Рафили, Сабит Рахман, Джафар Джафаров, Самед Вургун, Али Назым, Мехти Гусейн – азербайджанские поэты, прозаики, критики, пришедшие в литературу, как и Расул Рза. В 30-е годы. [↑](#footnote-ref-5)
6. «Гяндж ишчи» («Молодой рабочий») – название молодежной газеты 30-х годов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Устад – мастер. [↑](#footnote-ref-7)
8. Азербайджанские поэты. [↑](#footnote-ref-8)
9. «Гобустан» – альманах искусств, который Анар основал в 1969-ом году, и редактировал до 1987-го года. [↑](#footnote-ref-9)
10. Хазри – северный, гилавар – южный ветер. [↑](#footnote-ref-10)
11. Отец тогда еще работал главным реджактором Азербайджанской энциклопедии. [↑](#footnote-ref-11)
12. Народная песня. [↑](#footnote-ref-12)
13. Вид турецкой водки. [↑](#footnote-ref-13)
14. Гусейнгулу хан Хойский – старший брат Фатали хана Хойского, первого премьер-министра Независимой Азербайджанской Республики (1918-1920) [↑](#footnote-ref-14)
15. Азербайджанская ассоциация пролетарских писателей. [↑](#footnote-ref-15)
16. Азербайджанские литераторы, жертвы нарушений социалистической законности в перирд культа личности. [↑](#footnote-ref-16)
17. К Аждару Ханбабаеву. [↑](#footnote-ref-17)
18. Эмин Сабитоглу – азербайджаснкий композитор, сын драматурга Сабита Рахмана. [↑](#footnote-ref-18)
19. М.Дильбази – Народная поэтесса Азербайджана. [↑](#footnote-ref-19)
20. Шахрияр – крупнейший поэт Иранского Азербайджана. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ханэндэ – певец, исполнитель народной музыки – мугамов. [↑](#footnote-ref-21)